

Алехо Карпентьер

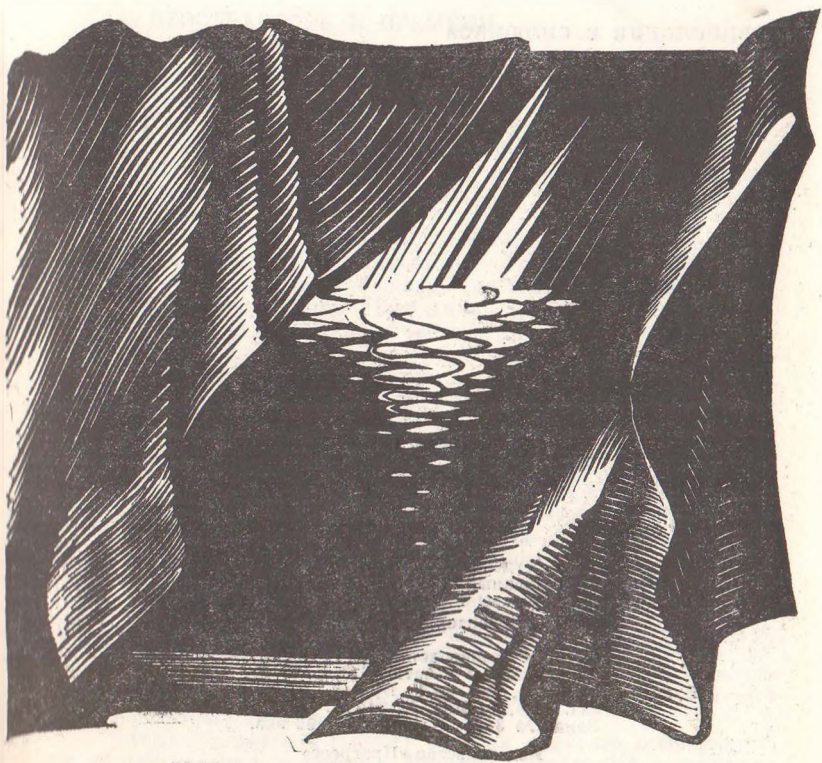
Густаво Эгурен

Сесар Леанте



КУБИНСКАЯ ПОВЕСТЬ





АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

*Право политического
убежища*

ГУСТАВО ЭГУРЕН

Тени на белой стене

СЕСАР ЛЕАНТЕ

Беглец

Перевод с испанского

ПРЕДИСЛОВИЕ В. СИЛЮНАСА

РЕДАКТОР Л. БОРИСЕВИЧ

КУБИНСКАЯ ПОВЕСТЬ

Художник *А. В. Зайцев*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технические редакторы *Т. В. Беляева* и *Е. А. Торгушина*
Корректор *Р. Х. Пунга*

Сдано в производство 6.11.1975 г.
Подписано к печати 16.3.1976 г.
Бумага 84×108¹/₃₂, тип. № 1. Бум. л. 2¹/₂. Печ. л. 8,4
Уч.-изд. л. 8,29. Изд. № 21770. Цена 44 к.
Заказ № 3475. Тираж 150 000 экз.

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, Г-21, Zubовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валуевская, 28

Произведения, включенные в настоящий сборник,
опубликованы на языке оригинала до 1973 г.

© Перевод на русский язык, кроме произведений,
обозначенных знаком *, и предисловие
«Прогресс», 1976

О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

У книги, которую мы предлагаем вниманию читателей, есть одно примечательное свойство. Три автора, принадлежащие к разным поколениям — Алехо Карпентьер (род. в 1904 г.), Густаво Эгурен (род. в 1925 г.), Сесар Леанте (род. в 1928 г.), — пишущие в разной стилистической манере, словно сговорившись, создают вариации на одну и ту же тему — тему пространства и времени.

Более того, во всех трех произведениях речь идет о совершенно одинаковом пространстве — пространстве убежища. В предоставившем ему убежище посольстве иностранного государства коротает дни Начальник Президентской Канцелярии — герой повести Карпентьера; в убежище стремится превратить свой дом Хорхе Луис — герой повести Эгурена; Мануэля, героя повести Леанте, мы видим либо в поисках убежища, либо прячущимся в нем. И это, как мы сможем убедиться, вовсе не случайное обстоятельство.

Но как бы ни был акцентирован образ пространства, он оказывается у всех трех авторов второстепенным. Определенное решение образа пространства, его зримая архитектуроника служат здесь тому, чтобы помочь постичь, с предельной остротой почувствовать незримую, но вездесущую и, как оказывается, самую важную силу — время, или, точнее, Время с большой буквы, простирающее над повестями свое необоримое господство. Пространство призвано эту силу обнаружить, явить, подобно лакусовой бумаге. Время моделирует пространство, оставляет на нем свой неизгладимый след. И с этой точки зрения убежище — это, если воспользоваться выражением Шекспира, «отмель времен», островок, все границы которого омывает неостановимый поток времени.

Алехо Карпентьер говорит об этом наиболее подчеркнуто, с парадоксальной резкостью. Впрочем, парадоксы восприятия времени лежат в основе едва ли не любого сочинения этого выдающегося писателя, колосса современной кубинской прозы. В «Потерянных следах» (1953) движение в пространстве оказывается движением во времени. Отдаляясь от города, углубляясь в сельву, герой романа словно движется вспять, встречаясь со все более и более отдаленным прошлым: с романтизмом, барокко, Ренессансом, средневековьем, первобытнообщинным строем (таков строй поселения Аделантадо...).

Трагическим выглядит движение времени по кругу в «Веке Просвещения» (1962). Это движение для Карпентьера обманчиво, иллюзорно; оно лишено поступательности — за перемещением вперед здесь, как у Сизифа, следует возвращение вспять.

Но то, что было трагедией в «Потерянных следах» и в «Веке Просвещения», оказывается в «Праве политического убежища» (1972) фарсом. Через повесть красной нитью проходит мотив карнавала, то и дело мелькают ряженые... Каждый день героя повести, Начальника Президентской Канцелярии, начинается с того, что он должен тщательно наряжаться («все восемнадцать пуговиц застегнуты, как положено: две на внутренних карманах, шесть на ширинке, три на пиджаке, семь на жилете...»).

Таковы требования ежедневного политического представления, устраиваемого правым режимом, стремящимся прикрыть внешней позолотой свою истинную сущность. У этой игры в один из ее актов превращается даже учение по противовоздушной обороне — самолеты из-за тумана не видят объектов нападения, зенитки стреляют в невидимые самолеты. И как вершина абсурда — финал повести с превращением политического противника в посла дружественной страны...

Мотив переодевания, как всегда у Карпентьера, многозначителен. Он подчеркивает неподлинность происходящего, постоянное притворство, разрыв между видимостью и сущностью. Символичен бурлескный жест в последней главе: Посл после торжественного церемониала аккредитации просовывает голову в кабинет Президента, чтобы скорчить рожу. Высокие сановники словно выходят из образа и во время дипломатического приема начинают перешептываться насчет борделя... Роли тем легче отслаиваются от них, что они им не впору; за торжественной оболочкой, как и за всей демагогической фразеологией реакционной диктатуры с ее неизменным обращением к избитым штампам («Вы дети героев, которые...», «Пусть наши границы станут славным полем битвы...» и т. д.), кроется пошлость и ничтожество.

В повести в ироническом регистре звучит одна из важнейших идей Карпентьера, убежденного, что всякий человек, доверившийся лишним будущему историческим силам, становится их невольником и онустошает себя.

Костюмированное лицедейство всегда ассоциировалось у Карпентьера с лицемерием, маскарад — с подлогом, игра на подмостках истории — с наигрышем, к которому тем охотнее прибегают те, кто ничего существенного представить собой не в силах. Первое, что бросается в глаза в «Праве политического убежища», — издевка над пустопорожним, трескучим и кровавым балаганом власти в вымышленном и очень узнаваемом латиноамериканском государстве с чехардой правителей, пе уступающих друг другу в способности грабить народ, устраивающих бойню в рабочих кварталах. Злое, саркастическое обличение подобного режима в гротескном преломлении возвращает нас к постоянным размышлениям писателя о времени.

Спрятавшийся в посольстве от дорвавшей до пирога власти конкурирующей группировки политиканов беглец, словно попавший в изоляцию от истории, ощущает ход времени лишь по тому, как в витрине Американского торгового центра меняют полюболюбившуюся юным покупателям игрушку, и малыш, думающий, что ему досталась та единственная, что была у всех на виду, оказывается обманутым: «Утеноч Дональд всегда был на своем месте, хотя его продавали раз пятнадцать на день... И это непрерывное замещение одной формы другой или подобной, неизменно водруженной на том же самом пьедестале, наводило меня на мысль о Вечности». Но можем ли мы верить на слово Начальнику Президентской Канцелярии? Не является ли Вечность в его устах прикрытием какого-либо иного понятия? И в самом деле, Вечность здесь лишь ширма, за которой происходит шулерское «замещение одной формы другой», точнее, она — лишь маска безвременья. Ибо что такое, как не безвременье, стояние на мертвой точке, неспособность к поступа-

тельному движению, попытка отгородиться от социального прогресса?.. Формы меняются, а за ними остается неперемнная пустота. Политическое представление диктатуры — это фарс, серия масок, скрывающих выморочность существования, хоровод подделок при отсутствии оригинала (не случайно едва ли не все персонажи повести лишены имен собственных). Президент в финале повести повторяет слова Президента, свергнутого им в начале, — они похожи друг на друга как две капли воды, как два утенка Дональда, они воистину друг друга стоят, и обоим им — грош цена.

Важнейшая причина безвременья, согласно Карпентьеру, та, что все подобные крайне консервативные политические системы представляют собой вопиющий и абсурдный анахронизм. Вот почему все здесь происходит не только вне логики, но и вне времени; герой то вовсе теряет счет ему, то, обретя его, видит, что вернулся к исходному месту — к Президентскому дворцу, — совершив движение по кругу. Совершив нечаянно, помимо своей воли. Последнее обстоятельство особенно важно: герои политического балагана, столпы антинародного строя оказываются марионетками то так, то эдак вертящего ими безвременья.

Карпентьер изображает этот раёшник сочно и броско. В «Праве политического убежища» мы узнаём стиль писателя, умеющего придать интеллектуально строгим и безупречным конструкциям мысли удивительно полнокровный, полнозвучный чувственный облик. Кажется, что создания Карпентьера, дающие столько пищи уму, не меньше дают слуху и осязанию, что мы упоенно постигаем их на глаз и на ощупь.

В «Праве политического убежища» мы находим ту же экспрессивную пластичность, то же умение дать в образе сгусток мысли. Так, существо «Соседней Страны» мы постигаем уже при описании ее герба: «в его центре — две руки: индейской женщины и испанки (это там, где испанка никогда не заговорит с индейцами!)». Но есть в повести и нечто новое для Карпентьера. Это первое произведение писателя, являющееся политической сатирой. И Карпентьер, видимо, настолько вошел во вкус едкого обличения, что два года спустя после «Прав политического убежища», в 1974 г., создал роман «Применение метода» — прозаическое жизнеописание диктатора одной из стран Латинской Америки наподобие Гаити или Парагвая в 20—30-е годы XX века. Как и в «Праве политического убежища», в романе перед нами возникает богато декорированная, аляповатая карусель тиранической власти, крутящаяся вхолостую, пригодная лишь на то, чтобы быть выброшенной на свалку истории.

В повести Густаво Эгурена «Тени на белой стене» мы вновь попадаем в замкнутое пространство. Это пространство воздвигнутого отцом Хорхе Луиса дворца — величественного и роскошного. В этом дворце Хорхе Лунс, богатый помещик, решает остаться, несмотря на победу революции. Потомок кичливых конкистадоров, привыкших повелевать и победительно утверждать свою волю, он не хочет сдавать свой последний плацдарм на глубинской земле, превращая дом в подобие цитадели, в которой собирается выдержать осаду ставшего враждебным времени. Хорхе Луис остается здесь, покинутый всеми, наедине с душой великих мастеров. Он ищет в ней забытья, хочет замкнуться

в пей, как в коконе. Она манит его, как возможность прорваться в вечность, спрятаться в вечности от времени («Только Бах, один только Бах, каждый час, каждую минуту!.. Он сел за рояль и принялся играть. Закрывать глаза — значит прервать последнюю связь с окружающим миром...»).

Но подобная робинзонада оказывается обреченной. Все попытки отгородиться от времени терпят крах. Время крупит твердыню Хорхе Луиса. Оно неудержимо проявляется в тропически-буйной природе, постепенно просачивающейся в оставленный слугами дворец, оккупирующей его: мириады насекомых, сырость, ветки кустарников и лакомка-вьюнок делают свое дело. И так же неминуемо действует историческое время — общество, лишая Хорхе Луиса всех прежних доходов, заставляя его, не привыкшего и не желающего зарабатывать себе на жизнь, пускаться с молотка все богатства и украшения дворца. Губительный для Хорхе Луиса парадокс заключен в том, что, желая удержать под натиском времени свой дом-крепость, он должен расшатывать, разнимать ее по частям, продавая под конец даже двери...

Судьба дома занимает в повести чрезвычайное место. Иногда герой представляется нам главным образом как жилец дома. Дом — материализованный в пространстве символ роскоши и силы некогда правивших страной латифундистов. Это зримое воплощение притязаний подчинить себе все, в том числе пространство, время и природу, «вытеснить воздух камнем», навски установить свой порядок. Крушение дома — это крушение старого порядка, свидетельство его недолговечности и непрочности. Революция повергает в прах самые прочные строения, врываясь на страницы повести как очистительный ураган, которому противостоять ничто не в силах. И все попытки, не сдвинувшись с места, сохранить позиции бывшего оказываются губительным самообманом. Думая о конкистадорах, Хорхе Луис отдает себе отчет в том, что они были «охвачены неудержимым стремлением найти свою судьбу», то есть стремлением к грядущему. Более того, он понимает, что всякая «жизнь устремляется к будущему». Но сам Хорхе Луис — весь в прошлом (не случайно все события предстают в повести опосредованными сознанием героя; Хорхе Луис отказывается от непосредственного общения с окружающим его миром, замыкаясь, замуровываясь в себе, в своих размышлениях и воспоминаниях), и, стало быть, он неизбежно превращает себя в нечто безжизненное, в человека, потерявшего свою судьбу, в живого мертвеца.

Само название «Тени на белой стене» словно отсылает нас к метафоре Платона, уподобляющего недостоверное, обманчивое человеческое познание познанию того, кто, сидя спиной к исходящему перед входом в пещеру, судит о событиях по теням на ее стене. Герой Эгурена поворачивается спиной ко времени, и это — жалкая поза, определяющая превратные представления о мире.

Хорхе Луис не случайно вспоминает попытки бабушки, занимавшейся астрологией, угадать общий ход вещей. Его род был не в силах прозреть это. Тени на пещерной стене оказались тенями в глубине тупика, ловушкой, безвыходность которой становится все более злобедей. Дворец, где затаился герой, все

больше начинает напоминать удушливое логово — тем паче что за его стенами мы ощущаем безбрежный простор, на который выходит жизнь народа. Жизнь эта стремительно уносится к новым горизонтам, и тот, кто оказывается на отмени, с катастрофической быстротой отстает от нее, старится, ветшает, разлагаясь в неподвижной заводи, и вот уже становится ощутимым гнилое зловоние...

Если в «Праве политического убежища» Карпентьер изобразил, по своему определению, «время без времени», если в «Тенях на белой стене» герой Эгурена отброшен временем назад, то герой повести Леанте — революционер, нацеленный на будущее, находящийся в авангарде эпохи. Мануэль, беглец, оказывается в положении человека, вперед времени забежавшего.

Основной вопрос, который дебатруется в повести о молодых заговорщиках, — вопрос о том, является ли стремление обогнать время бездумным авантюризмом или отвечающей народным чаяниям социальной потребностью. Судьба бунтарей ставится в повести в зависимость от народной жизни. Лучшие страницы «Беглеца» — те, в которых описан Мануэль, глядящий на уличную толпу. Она разнолика, пестра и, казалось бы, совершенно хаотична. И все же вместе с героем мы догадываемся, что за этим по видимости беспорядочным движением скрывается определенная закономерность и что судьба батистской диктатуры зависит от того, куда это движение устремится.

Так рассказ, в котором действуют романтически-благородные герои, поворачивает нас лицом к реальности, учит — пожалуй, даже слишком рационалистично — анализировать ее законы. Но познание реальности показывает: в ней неминуемо, исподволь вызревают идеалы революции. Потому так важны в структуре повести воспоминания о Хосе Марти — они обнажают уходящие в глубь времени, в толщу реальной почвы корни борьбы. Революция, выступающая во имя свободы, оказывается исторической необходимостью. Она надвигается «подобно камню, несущемуся по склону горы», который «по дороге увлекает за собой другие камни».

Повесть строится на драматической асинхронности малого времени — времени полицейской облавы, все более туго сжимающейся вокруг революционеров, обрекающей их на гибель, и Большого Времени, несущего их грядущее торжество.

«Беглец» основывается на реальных событиях, в повести заметна тяга к репортажной достоверности, в ней словно возникают моментальные снимки событий. «Тени на белой стене» — произведение более многогранное. Эгурен показывает живую смену и противоречивость различных чувств своего героя — надежды и отчаяния, гордыни и беспомощности, тоски и ожесточенности. Хорхе Луис — человек одаренный, незаурядный. Однако при всем своем тонком музыкальном слухе он оказывается глухим к зову времени и потому обреченным.

Итак, перед нами три повести, рассматривающие, в сущности, схожие проблемы. И эта приверженность теме времени понятна. Революционное время побудило Алехо Карпентьера, еще в начале пятидесятых годов ставшего одним из известнейших современных прозаиков, обратиться к острейшему социальному гротеску, Густаво Эгурену, который испробовал

при режиме Батисты работу продавца, учителя, почтальона, поденщика на радио и телевидении, революция помогла стать писателем. Не удивительно, что созвучие эпохе стало для него органической потребностью. Первым его крупным произведением был роман «Ла Робла» (написан в 1959 г., издан в 1967 г.), рассказывающий о стачке. Затем последовали другие книги: сборник новелл «Нечто о бледности, окне и возвращении» (1969), отдельное издание повести «Тени на белой стене» (1971)...

Характерно и то, что первая книга занимавшегося до революции журналистикой Сесара Леанте «Вместе с милицией» (1962) — это репортажи о народных бойцах, о напряженных схватках с врагами революции и тревожных солдатских буднях. Затем появились повести и романы: «Беглец» (1964), «Отцы и сыновья» (1967), «Набережная кавалерии» (1973).

Во всех этих книгах, как и в трех повестях, публикуемых в нашем сборнике, писатели, как отметил Карпентьер в ответе на анкету «Литература и Революция», жаждут «найти адекватный ритм»¹ для выражения революционной эпохи. Как заявил в своем интервью Густаво Эгурен, за «один год Революции постигаешь больше, нежели в иные десятилетия». С 1959 г. и по сей день опыт социалистической Кубы, прибавил он, измеряется несколькими столетиями². Вот почему проблема времени оказалась для кубинских писателей такой насыщенной и содержательной, и вот почему, изображая, как по-разному оно порой протекает, они раскрыли перед нами существенные черты реальности.

В. Силонас

¹ «Casa de las Américas», 1968—1969, № 51-52, p. 26.

² Ibid., p. 138.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Право политического убежища



ALEJO CARPENTIER

EL DERECHO DE ASILO

*Перевод Э. Брагинской**

* Перевод повести впервые опубликован в сборнике «История одного бессмертия», «Художественная литература», М. 1976 г.

Право политического убежища в дипломатических миссиях будет соблюдаться постольку, поскольку оно, отвечая нормам гуманности, не противоречит соглашениям или законам страны, предоставляющей убежище.

Статья 2-я Договора, принятого на II Панамериканской конференции, состоявшейся в Гаване в 1928 году

I. ВОСКРЕСЕНЬЕ

По случаю воскресного дня Начальник Президентской Канцелярии, он же Начальник Канцелярии Совета Министров, явился во дворец Мирамонтес часам к десяти, простояв перед этим довольно долго у витрины соседнего магазина, где был выставлен детский конструкторский набор «Меккано». В воскресенье, да еще летом, весь народ пропадает на пляже или в церкви, не в пример будням, когда Начальнику Канцелярии нет никакой возможности вплотную заняться серьезными делами, ни тем более делами конфиденциального свойства; где тут работать, когда с утра до ночи дефилируют все кому не лень: послы в расшитых золотом мундирах, при орденах, высокие должностные лица, знатные иностранцы, отцы церкви — рангом выше, рангом ниже, губернаторы дальних провинций, разного рода просители и попрошайки, жаждущие аудиенции, назначенной или неназначенной, большей частью неназначенной, если речь идет о военных — у Сеньора Президента или, на худой конец, у Вице-Президента, хотя насчет деловых качеств последнего никто уже не ободрялся. «Я поговорю об этом с Сеньором Президентом!» — отвечал Вице-Президент важным тоном. Ну а потом, при встрече с Главой Государства: «Генерал... нам раздобыли первоклассных итальянчочек» (Смачный поцелуй в самые кончики пальцев правой руки, которая описывает затем неопределенную кривую в воздухе. *Beati possidents*¹).

¹ Блаженны владеющие (лат.). — Здесь и далее примечания переводчиков.

«Мне уже наскучили эти креольские коровки, которых ты раздобыл у Лолы! — всего несколько недель тому назад заявил Глава Законодательной и Исполнительной власти. — При теперешнем уровне нам нужны европейские женщины, элегантные, изысканные и чтоб умели поддерживать разговор...» Начальник Президентской Канцелярии выглянул во внутренний сад из окна одноэтажного дворца в стиле второй империи. Президенты страны — как законные, так и пришедшие к власти вопреки закону — вот уж несколько десятилетий не живут в этом дворце из-за целого ряда неудобств: из-за излишней монументальности уборных и, разумеется, из-за его несуразного стратегического положения на случай переворота — дворец легко простреливался ближайшей артиллерийской батареей. За резными деревянными колоннами сержант Крыса, как всегда, кормил свою черепаху по имени Клеопатра салатными листьями, которые он неспешно вынимал из мокрого дерюжного мешка. «Вы просматривали сегодняшнюю прессу? — спросил он, помахивая в воздухе газетой. — Послушайте, что Гитлер сказал своим солдатам: «У тебя нет сердца и нет нервов: на войне они не нужны. Подави в себе жалость и сострадание! Убивай всех русских, всех советских! Не останавливайся ни перед стариком, ни перед женщиной, ни перед ребенком. Убей их, и тем самым ты спасешься от смерти, обеспечишь будущее своей семье и прославишь себя на века. Всех к стенке!» Вот она, наука Кляузница! Этот пруссак, скажу я вам, настоящий гений!...»

Начальника Президентской Канцелярии всегда поражало столь неумное преклонение перед Клаузевицем, в котором сержанту виделся изобретатель той самой «тотальной войны», что кочует по страницам научно-фантастических романов: раскаленные адские машины, сравнивающие с землей вражеский город; подъемные краны, подхватывающие каменные дома и обрушивающие их с огромной высоты на очаги сопротивления; огнеметы с разверстой и глубокой, как туннель, пастью; танки, вмещающие сразу триста солдат... словом, «тотальная война», о теоретике коей сержант Крыса знал лишь со слов другого сержанта, а тот в свою очередь почерпнул сведения о ней от капрала, состоявшего при некоем лейтенанте, у которого был собственный

трехтомник «О войне» и «Битва при Ватерлоо»¹ и которому нравилось размышлять вслух о теоретических положениях Клаузевица. «Да... Этот Кляузниц мог бы переплюнуть и Бунапарта!» — говорил сержант Крыса, подсовывая салат своей любимице Клеопатре. Начальник Канцелярии передко задавался вопросом: откуда такое неистребимое желание истребительной войны у сержанта Крысы, мягкого и простодушного человека, который причащался в положенные дни, который мог лить слезы при виде заболевшей черепахи, который тратил чуть ли не все свое жалованье на оловянных солдатиков, чтобы потом раздарить их уличным мальчишкам, а если взять литературу, то здесь ему была ниспослана благодать Единственной книги — «Графа Монте-Кристо». Он читал и перечитывал эту несравненную и незаменимую книгу сотни раз, и тем не менее подвиги графа Монте-Кристо по-прежнему утоляли его собственную жажду красоты, любви, приключений, по-прежнему тешили его тайные мечты о власти. Словом, давали ему, маленькому человеку, простому сержанту, все, что другие могли отыскать лишь в писаниях Эпиктета, Боэция или Марка Аврелия. Но так или иначе, сержант Крыса буквально бредил тотальной войной, массовыми убийствами, истреблением целых народов. Он страшно досадовал, что Пограничный Конфликт, возникший между его страной и страной соседней — а граница, по сути дела, была чисто теоретической, ибо давно затерялась в девственной сельве и четкость ее линии сохранилась разве что на школьных географических картах, — не хотят разрешить с помощью оружия. «Напустить бы на них что-нибудь пострашнее!» — думал он, и перед его расширенными глазами всплывали грозные машины, которые покоряли межпланетные пространства в комиксах, заполнявших воскресные приложения местных газет.

Начальник Президентской Канцелярии вошел в свой кабинет, обставленный в помпейском стиле; письменный стол венчала внушительная чернильница с наполеоновским орлом на крышке, а рядом с ней белела стопка бумаг, к счастью несложных, не требующих особых размышлений. Покончив с этими бумагами, он в ожидании

¹ «О войне» и «Битва при Ватерлоо» — сочинения Клаузевица.

обеда, который ему обычно припасил все тот же сержант Крыса, решил пройтись по просторным и пустынным залам дворца, наслаждаясь тем, что вокруг него нет ни стражи, ни прислуги — словом, нет ни единой живой души. Большой зал в стиле Людовика XV — белый с позолотой рояль, купленные по случаю гобелены — примыкал к президентским апартаментам, обставленным в духе Эскориала, которые вели в библиотеку, где стояли бесконечные и никем не потревоженные Момзены, Мишле, Гизо, Чезаре Канту, Дюрюи. Дальше шли покои, предназначенные для супруги Президента, если таковая имелась, — все сплошь «модерн»: наяды, обрамляющие зеркала, рисунки в стиле Альфонса Мухи или скорее Бёрдсли, печальные Пьерро, поющие серенады в лунную ночь, которые украшали ширму, прикрывавшую умывальник и скандально знаменитое биде, возбудившее лет сорок тому назад всяческие толки, главным образом потому, что его в строжайшей тайне везли из Франции. Зал Аудиенций и Вручения Верительных грамот отдавал средневековым: ореховые консоли, воинские доспехи на стенах, гобеленовый балдахин над президентским креслом. На одном из гобеленов изображен святой Людовик, вершащий правосудие под сенью дуба...

Когда обед был подан, Начальник Президентской Канцелярии вошел в столовую, где среди сумятицы картин с кентаврами и вакханками, созданными в начале века кистью одного из подающих надежды учеников Парижской школы изящных искусств, выделялся натюрморт с бутылкой «Вдовы Клико» (марка шампанского была выписана с особым тщанием), из которой в виде пены вылетал целый сонм ангелов и херувимов. Начальник Президентской Канцелярии уселся за стол на кресло самого сеньора Президента. Что и говорить, попадая во дворец Мирамонтес по воскресеньям, он чувствовал себя почти Президентом. Однажды он даже повязал через плечо президентскую ленту, чтобы ощутить всю полноту власти. «Знаете, о чем говорят в городе? Генерал Мабильян поднял восстание. На улицах творится бог знает что. Теперь без тотальной войны не обойтись! Прикончить бы всех по ту сторону границы, ведь все зло от них!» Начальник Президентской Канцелярии, однако, безмолвствовал: он рассматривал малень-

кую книжку репродукций картин Пауля Клее, которую извлек из своего кармана. Начальник Президентской Канцелярии испытывал особую любовь к Паулю Клее.

II. ПОНЕДЕЛЬНИК

344151
Рано вставать. К этому нельзя привыкнуть! До чего назойливо повторяются одни и те же движения, одни и те же жесты! Сегодня, как и вчера, как и двадцать лет тому назад. А зеркало говорит, что я старею... Теперь бриться. Одна за другой заученные гримасы. Те же неподатливые рытвинки, поросшие волосами. Теперь зубы... Словом, настоящая стена, сложенная из привычных движений и жестов, которые общество вменило в обязанность всем и каждому, и тем паче Начальнику Президентской Канцелярии,— стена между постелью и улицей, между человеком, лежащим в постели, и человеком, который должен выйти на улицу в подобающем виде. Жизнь с самого первого дня диктует тебе необходимость менять оболочки, переходить, проскальзывать из одной в другую при помощи всяческих одежек и тканей, которые срастаются с твоим существом. На своем пути от первых пеленок до последнего парадного костюма, в котором тебя похоронят, ты перебираешься из рубашки в рубашку, из сюртука в сюртук, пока, одетый посторонней рукой, не попадешь во власть похоронного бюро. В памяти остается темно-зеленая, пожелтевшая от времени тройка, ношенная-переносенная в годы пужды. Остается и синяя тройка английского сукна, ставшая свидетелем первых успехов на жизненном поприще. И еще костюм спортивного покроя, который ты надел, чтобы сделать предложение Соне. Ну, конечно, и тот серый, что ты снял в ее присутствии, когда она, уже совершенно голая, надкусывала персик. И еще те, другие, связанные с памятными датами, точно вино счастливых лет. С того дня, как человек открывает глаза, до того, как он их закрывает, да и после того, ему приходится играть роль этакого зонтика, на котором меняют покрытия. И вот по этим покрытиям судят не о чем-нибудь, а об уме, социальном положении и достатке каждого человека. Ну, теперь пора! Пора идти во дворец Мирамонтес! Все восемнадцать пуговиц застегнуты,

как положено: две на внутренних карманах, шесть на ширинке, три на пиджаке, семь на жилете... Сегодня в девять утра заседание Совета Министров, на котором будет рассмотрено требование соседней страны о пересмотре границ. В двух шагах от дворца Мирамонтес я с удивлением замечаю то, что вряд ли может привлечь внимание непосвященного прохожего: сержант Крыса стоит в постовой будке при полном вооружении, с двумя патронными сумками. Чем-то явно взволнованы и солдаты дворцовой охраны, столпившиеся в вестибюле парадного входа, который виден с улицы... Но вот на «ягуаре» подкатывает министр финансов. Перед ним с заученной любезностью распахивают двери, и, едва он входит внутрь, его грубо толкают в спину и берут под стражу. То же самое повторяется с министром общественных работ, прибывшим на «кадиллаке». И с министром здравоохранения. И с министром внутренних дел, и с министром коммуникаций. Сержант Крыса тебя увидел. Он идет тебе навстречу. «Входите, входите, доктор! Ведь сегодня заседание Совета!» На твое плечо опускается слишком тяжелая рука. «Да, да,— отвечаешь ты,— но мне надо купить сигареты в киоске». — «Я вам куплю!» — «Сержант,— говоришь ты властным и твердым голосом, который приводит Крысу в смущение,— ни при каких обстоятельствах солдат не может оставить свой пост! Почитайте еще раз Клаузевица! Похоже, что вы не слишком внимательно его читали!» Сержант замер, смешался, но секундой позже Начальник Президентской Канцелярии, направившийся за сигаретами к киоску, почувствовал его тяжелый провожающий взгляд и услышал предостерегающий стук новенького маузера. Ты успеваешь подумать, что в баре рядом с киоском нет выхода на другую улицу. «Дайте мне пачку „честер-филда“». Крыса не сводит с тебя глаз. Надо выиграть время, не торопись и как можно естественнее веди себя под стерегущим взглядом сержанта. «Стакан содовой, пожалуйста». Содовая как лед! Но ты: «Добавьте, пожалуйста, немного льда: такой теплой я не выношу...» Строчки свежих газет: «Авиация перешла на сторону генерала Мабильяна!» «Гарнизон Президентского дворца тоже»,— говоришь себе мысленно. «Еще один стакан!» В этот момент в вестибюле дворца начинается страшное волнение: к парадному входу прибыл Пре-

зидент Республики, он же Председатель Совета Министров. Сержант Крыса, возбужденный предвкушением важной добычи, покидает постовую будку и бежит к дворцу. Слышатся выстрелы — безуспешная попытка сопротивления со стороны Президента, но об этом ты узнаешь гораздо позже. А пока, воспользовавшись возможностью выскользнуть из бара, ты пускаешься почти бегом к зданию «Нейшнл сити бэнк оф Нью-Йорк», где уже полным-полно людей, даже отдаленно не подозревающих о том, что происходит в пятидесяти метрах от банка. Ты сворачиваешь за угол и оказываешься на улице, ведущей к старому кварталу, где у тебя нет ни одной знакомой семьи. Единственный выход — просить политического убежища в каком-нибудь из латиноамериканских посольств. На память тут же приходит мексиканское — роскошное, с большим садом, где цветут алые фламбояны, или венесуэльское — с его великолепной библиотекой и с медовыми булочками, которые подают на завтрак. Или, наконец, бразильское — с прекрасным бассейном. Только сейчас до них не добраться! И как назло, ты вышел на улицу с двумя песо в кармане. Твой собственный дом в каких-то ста метрах от дворца Мирамонтес, но ты знаешь, что очень скоро войска генерала Мабильяна займут все улицы, прилегающие к латиноамериканским посольствам, чтобы никто не успел попросить политического убежища. Завернув за угол у церкви Чудотворной Девы, ты останавливаешься перед скромным — в три этажа — зданием, на балконе которого развевается государственный флаг одной из латиноамериканских стран. На белой полосе флага изображен герб: две пантеры, мирно лежащие, но готовые к прыжку, — вдоль катетов золоченого треугольника, а в его центре — две руки: индейской жемчужины и испанки (это там, где испанка никогда не заговорит с индейцами!), разрывающие цепи угнетения. Слева от посольства красуется магазин скобяных товаров братьев Гомес. А напротив — боковой фасад Торгового центра могущественной американской фирмы, разбросавшей свои филиалы по всему континенту. Сомнений нет! Тыходишь во двор. Поднимаешься по лестнице — всего несколько ступенек — и стучишь в дверь, на которой прибито объявление: «Прием посетителей с одиннадцати утра». Тебе открывает Сеньор По-

сол в утренней пижаме. «Разве вы не прочли нашего объявления?» Ты легопько отодвигаешь его в сторону и, войдя в холл, садишься в кресло, слишком ярко освещенное утренним солнцем. «Я остаюсь здесь!» На твоём лице расплзается улыбка. «Я решительно ничего не понимаю... О, Начальник Канцелярии! Простите, не узнал вас сразу... Тут очень отсвечивают стекла!» — «Генерал Мабильян поднял восстание в казармах. Все правительство арестовано. Мне удалось бежать, и я намерен получить политическое убежище в вашем посольстве в соответствии с благородными принципами, провозглашенными в Гаване на Панамериканской Конференции 1928 года».

Сеньор Посол вдруг багровеет и взрывается: «Но это невозможно, сеньор! Это совершенно невозможно! У нас бедная страна, маленькое посольство. Вам ли не знать, какое скудное жалованье получают послы некоторых латиноамериканских стран!» — «Я буду располагать пятьюстами песо в месяц!» Ты одариваешь его улыбкой, и в этот момент за твоей спиной раздаётся женский голос: «У нас есть комната, вполне приличная для одного человека. Надо будет лишь убрать оттуда саквояжи». Ты оборачиваешься. Супруга Сеньора Посла — красивая женщина в просторном кимоно, подаренном ей Супругой Японского Консула, протягивает тебе чашечку кофе. «Надеюсь, вы не будете слишком скучать в нашем стариковском обществе?»

Комендантский час, установленный с четырех часов вечера, будет сохранен на неопределенное время. В восемь генерал Мабильян, должно быть, обратится к народу с речью. Так и есть! В восемь генерал Мабильян обратился к народу с речью, в которой все было на своих местах: и «герои борьбы за независимость», и «вновь обретенная свобода», и «грядущая социальная справедливость», и «святое знамя родины», и, разумеется, армия — «носительница самых славных традиций», и прочее в том же духе. Все, что произошло за истекший день, отвечало «великим чаяниям и стремлениям славных сынов Латинской Америки» и прочим вещам в том же стиле. Генерал довел до всеобщего сведения, что во вторник будет восстановлен порядок, но комендантский час не отменяется. Под занавес было объявлено, что новые власти незамедлительно приступят к осуще-

ствлению грандиозных планов — строительству плотины Камбокара, моста на реке Косаль, который станет чудом инженерного искусства, западной железной дороги и, наконец, автострады между Новой Кордовой и портом Карденас. «Ловкачи! — вздохнешь ты. — Еще не узаконили свою власть, а уже запустили руку в государственную казну! Сколько же они прикарманят на комиссионных от этих гвоздей, шурупов, рельс, шпал, телеграфных столбов и т. д. и т. п. — словом, от всего, что означено словами: Западная железная дорога. Это без учета доходов от подвижного состава, от мостов и железнодорожных станций! Ну, а что касается автострады, то тут игра еще проще и без всякого риска. Восемь метров ширины по одобренному предварительному проекту и семь метров шестьдесят сантиметров в тот час, когда по автостраде проедет первая машина. Вообразите теперь, какую кругленькую сумму дадут все четыреста километров...»

Ночью в городе слышались выстрелы. «Черт те что! — сказал Сеньор Посол. — В Латинской Америке победу почему-то всегда одерживают заговорщики». — «Только вот много убитых, — говоришь ты, — и среди них не найти ни членов «Кантри клуб», ни жителей богатых кварталов. Клиентами латиноамериканских арсеналов всегда были бедняки».

III. ДРУГОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК (ЛЮБОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК)

Мне скучно! Скучно! Скучно! Да и все вокруг меня усиливает ощущение неодолимой скуки. Дело не столько в том, что я сижу взаперти, что мне нельзя высунуть нос на улицу, пойти, скажем, в кино, которое в двух шагах от меня (у дверей посольства постоянно торчат два вооруженных солдата), что мой *habitat*¹ ограничен этой узкой комнатой с узкой кроватью, с ящиком изпод сухих супов марки «Кэмпбелл» вместо ночного столика, над которым с одной стороны красуется календарь «Дженерал электрик» (Большой каньон реки Колорадо, Скалистые горы, Золотые ворота, ловля форели), а с другой — календарь фирмы грамзаписи, от

¹ Здесь: владение, квартира (лат.).

которого остались листки с портретами Ванды Ландовски, Ола Джонсона, Элисабет Шварцкопф, Луи Армстронга, Давида Ойстраха и Арта Татума. Куда хуже все то, что окружает мое убежище. Отвесная стена церкви Чудотворной Девы возносится абсолютной вертикалью над самым окном нашей столовой. Этот созданный природой и архитекторами рупор — чистая готика 1910 года — захлестывает меня латынью церковной службы. Я даже выучил наизусть слова антифона из вечерней мессы:

«Dum esset Rex in accubitu suo,
nardus mea dedit odorem suavitatis» ¹.

И вся эта нескончаемая череда дней и ночей моего заточения постепенно стирала в моем сознании понятие Времени. Я рассматриваю и рассматриваю витрину магазина скобяных товаров братьев Гомес («Основан в 1912 году» — гласит надпись на фасаде), и меня поражает дремучая древность выставленных там вещей. Ведь вся эволюция человеческого труда от доисторических времен до электрической лампочки представлена в этой витрине разнообразными предметами, разноликой утварью, которую предлагает покупателям магазин братьев Гомес, — веревки, канаты, рыболовные сети, бечева Одиссея, весы и безмены, уводящие в те далекие времена, когда человек перестал продавать свой товар поштучно или на глаз и начал продавать на вес, породнив тем самым торговлю с судом и судьями. Каменные ступки, похожие на те, что были у самых древних обитателей страны, наковальни — какие поменьше, какие побольше, — напоминающие о стольких вещах сразу, котлы шабаша, так называемые испанские гвозди, квадратные, в пол-ладони длиной, точно такие же, что пронзили тело Христа, и еще лопаты, охотно раскупаемые местными крестьянами, этакие тяжеленные заступы с толстыми рукоятками, схожие с теми, что держат в руках земледельцы, изображенные на буколических миниатюрах в средневековых часословах. Начальник Президентской Канцелярии, досадуя и мрачней духом, переходил к окну напротив, которое почти упиралось в витрину с игрушками Американского торгового центра. И там симво-

¹ Доколе царь возлежал за трапезой своей,
нард мой издавал сладкое благоухание (лат.).

лом неизменности и постоянства красовался похожий только на самого себя Утенок Дональд, который одерживал верх над всеми молитвами, всем архаизмом современной утвари магазина скобяных товаров. Этот очеловеченный утенок из папье-маше с оранжевыми лапками, стоявший в углу витрины, властвовал и над особым миром детской железной дороги, над миром шкафчиков с восковыми фруктами, ковбойских пистолетов, зачехленных ружей и детских стульчиков. Утенок Дональд всегда был на своем месте, хотя его продавали раз пятнадцать на день. Ведь дети хотели только «этого», только с витрины, и чья-то женская рука каждый раз извлекала его оттуда за оранжевые лапки, а чуть погода появлялся новый утенок, точно такой же и на том же месте. И это непрерывное замещение одной формы другой — себе подобной, неизменной, водруженной на том же самом пьедестале — наводило меня на мысли о Вечности. А что, если вот так же какая-то Верховная Сила, стоящая на страже неизбывности Бога, замещала его время от времени таким же, но другим? Божья Мать? Матерь богов? (Разве Гёте не сказал кое-что на этот счет?) И в минуты смены, когда Трон Господень оставался незанятым, случались катастрофы на железных дорогах, разбивались самолеты, уходили на дно трансатлантические пароходы, разгорались войны, вспыхивали эпидемии. Только одна такая гипотеза не оставляла камня на камне от мерзкой ереси Марциона¹, согласно которой плохой мир мог быть сотворен только плохим богом. Утенок Дональд заставлял меня задумываться над софизмом Зенона Элейского о полете стрелы: всегда неподвижный, подобный только самому себе, он прочерчивал стремительную траекторию стрелы, обновленную раз пятнадцать-двадцать на день, и эта траектория уводила его во все концы города. Утенок Дональд стал для меня еще одной приметой безвременья, вкупе с электрическим детским поездом, который днем и ночью совершал свой нескончаемый круговой путь по трем метрам игрушечных рельсов, где на каждом повороте непременно зажигался красный огонек. «Сегодня пятница?» — спрашиваю я у Супруги Посла.

¹ Марцион (85—170?) — философ-гностицист, один из толкователей Нового и Ветхого Заветов.

«Понедельник, дружок, понедельник...» В довершение ко всему я не читал газет. Мне ведь слишком хорошо известно, что такое генерал Мабильян и состоящие при нем вояки. Я так и вижу его лицо, когда он спрашивает у адъютанта: «Ну а как насчет тех европейских женщин — элегантных, изысканных и чтоб умели поддерживать разговор?» — «Я уже все выяснил, генерал! Их поможет нам разыскать одна сводня по имени Ипполита, которая живет возле парка Тадео». — «Нам бы надо приспособить домик в пригороде, лейтенант!» — «Слушаюсь, генерал!» Я обернулся к окну, чтобы взглянуть на Утенка Дональда Восемнадцатого, которого очень скоро заменил Утенок Дональд Девятнадцатый.

IV. ПОНЕДЕЛЬНИК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВТОРНИКОМ

Сеньор Посол был раздражен, озадачен, обеспокоен тем, что решение Пограничного Конфликта становилось с каждым днем все менее возможным: стараясь отвлечь общественное мнение от кровавых последствий военного мятежа — по ночам все еще раздавались глухие выстрелы, — генерал Мабильян разжигал патриотические чувства народа, чтобы убедить его в неизбежности войны с Соседней Страной. По радио и телевидению ежедневно и ежечасно повторялся весь привычный набор призывов: «Вы, дети героев, которые...», «Пусть наши границы станут славным полем битвы...», «Честь и хвала тем, кто окажется достойным...», «Нет более прекрасной смерти, чем та, что...» и т. д. и т. п. Чтобы окончательно повлиять на воображение столичных жителей, среди которых у генерала Мабильяна было немало тайных противников, он объявил, что такого-то (бывшему Начальнику Президентской Канцелярии так и не случилось выяснить точную дату) в городе будут проведены Военные учения по противовоздушной обороне. Каждый житель столицы получил напечатанное в типографии руководство с надлежащими указаниями относительно мер предосторожности, какие должны быть предприняты «от случайных попаданий».

«Служит ли надежной защитой от снаряда раскрытая над головой газета?» — «Нет!»

«Служит ли надежной защитой от снаряда раскрытый зонтик?» — «Нет!»

«Служит ли надежной защитой от снарядов автомобильный кузов?» — «Да! Но при этом следует опустить боковые стекла и усадить всех пассажиров как можно ближе к середине. При первом сигнале воздушной тревоги машину с погашенными огнями надлежит поставить у тротуара».

И вот наступила историческая ночь. Генерал Мабильян в полной походной форме, в каске с ремешком, вонзившимся в его отвисший подбородок, поднялся на холм, защищенный зенитной батареей, дабы приступить к роли Главного Режиссера и Постановщика Военных учений. Сигналы! Сирены! Полное затемнение! Напряженные минуты ожидания. «Слышится шум вражеских самолетов!» Но из-за привычного коварства тропиков все в этот Великий День пошло кувырком: несмотря на ясную безоблачную погоду, с гор, опоясывающих город, внезапно спустился густой туман. «Вражеские самолеты» ровным счетом ничего не увидели под собой, кроме густой пепельной пелены. А зепитчики ровным счетом ничего не увидели с земли, кроме слоново-серых туч, затянувших небо. «Огоны!» — не своим голосом заорал генерал Мабильян. Полчаса подряд длилось настоящее светопреставление. Самолеты заходили снова и снова, понятия не имея об учебных снарядах, которые, конечно, летели туда, где их не было. В конце концов самолеты возвратились на базу. Когда все кончилось, генерал Мабильян вернулся к себе в самом дурном расположении духа. «Взять под арест метеоролога!» — рявкнул он. «В рабочих кварталах очень много жертв вследствие «случайного попадания», — тихо доложил адъютант. — Удивляться тут нечему, ведь их дома что спичечные коробки. По предварительным подсчетам — семнадцать убитых и несколько раненых детей... Информацию не давать?» — «Разумеется, и предупредите газеты: если что-нибудь просочится, я введу цензуру! Непременно введу!»

Поскольку Пограничный Конфликт обострялся день ото дня, мне пришла в голову мысль хоть в чем-то помочь Сеньору Послу, о котором его красавица жена не далее как вчера изволила сказать, что он полнейший кретин. Не зная толком, что меня ждет, я начал изу-

чать историю Соседней Страны, открытой Христофором Колумбом во время его четвертого по счету путешествия. И если Колумб нигде не упомянул об этом открытии — ведь теперь мы знаем о нем благодаря посмертному изданию записок одного мавра-математика, а в Колумбову пору обыкновенного юнги адмиральского парусника, юнги из рода Ибрахима Аль Заркали, прославившегося трактатом об астролябии, — если, повторяю, Колумб нигде не упомянул об этом открытии, то лишь потому, что в этот знаменательный день занемог и не пожелал со штандартом в руках сойти на землю Зеленого Бархата, чтобы «вступить во владение земель от имени...» и т. д. и т. п. И не захотелось Колумбу послать вместо себя никого другого, ибо он знал, что штандарт католических королей может вскружить голову любому посланцу и растревожить душу одним легким прикосновением золоченой кожи, победно трепещущей на ветру. Словом, штандарт остался на своем прежнем месте, указывая путь всей флотилии. А Соседняя Страна не только лишилась законной даты своего открытия, но и была ввергнута в пучину неубывающих академических распрей между сторонниками «да, сошел» и «нет, не сошел», длившихся до тех пор, пока некий научный фонд, созданный в целях изучения арабских языков, не опубликовал текст Аль Заркали, сразу разъяснивший причины исторической путаницы.

После официального открытия Соседней Страны туда незамедлительно прибыла партия цивилизаторов первой выпечки — разномастные энкомендеро, губернаторы, разоренные идальго, темные личности из севильского сброда, великие махинаторы, набившие руку на взятках, пьяницы и похотливые насильники индейских женщин. Вслед за ними появилась партия цивилизаторов второй выпечки — законники, крючкотворы, магистраты, аудиторы, фискалы. Милостью тех и других колония превратилась в огромный скотный двор с выгонами и полями, засеянными маисом, среди которых изредка кудрявились фруктовые сады, посаженные на испанский манер... Но поди знай, откуда и как объявился в этой стране затрепанный экземпляр трактата «Об общественном договоре» Жан-Жака Руссо, гражданина Женевы. И его же «Эмиль»! Тот самый, что позволил воспитанникам руссоистской школы забросить учебни-

ки и увлечься плотницким делом, тот самый, что превратил их в страстных натуралистов, а вернее, в бесстрастных палачей стрекоз и потрошителей ящериц, ибо они бросали их прямо в гнезда тарантулов. Деятельные падре задыхались от ярости, а наивные простаки ломали голову над тем, когда и на каком судне прибыл на их землю Савойский викарий. В довершение всего появились французские энциклопедисты, а за ними и того хуже — вольтеррианцы в сутанах.

Ну а дальше дело было за созданием Либеральной Патриотической Хунты Друзей страны — гнезда либералов. И потом в один прекрасный день раздался гордый клич: «Свобода или смерть!» Под эгидой героев пройдет целое поколение и столетие государственных переворотов и военных мятежей, заговоров, восстаний, маршей в столицу, личного соперничества, каудильо-просветителей... Найдутся и такие, что попытаются утихомирить разбушевавшиеся страсти, возлагая надежды на своего кумира Огюста Конта, воздвигая ему храмы, усердно распространяя его «Катехизис позитивизма». (Однако попытка создать культ, лишенный осязаемых святых, потерпит провал точно так, как и сам «Позитивистский календарь», где фигурировали Колумелла, Кант, теократы Тибета, трубадуры — у них тоже были даты рождения и смерти — и даже парагвайский тиран доктор Франсиа¹. Этот календарь не прижился там, где поклонялись святому Иосифу, святому Николаю, святому Исидору-пахарю, который останавливал дожди и выводил на небо солнце, и, конечно, несравненной Деве Марии из Кататуче: она была смуглолица, красива, добра, щедра на чудеса и правила всем без исключения...)

Вот так разоренная страна, растерявшая и погубившая весь свой скот в нескончаемых войнах и мятежах, запустившая все поля и пашни, пришла к тем дням 1907 года, когда впервые был поставлен вопрос о ее Государственных границах.

Однако, судя по всему, ученые мужи запомнили о том, что в свое время обе заинтересованные стороны при участии немецкой комиссии, которая обязалась ока-

¹ Франсиа, Хосе Гаспар Родригес — политический деятель, назначенный в 1816 году пожизненным диктатором Парагвая.

зять им необходимую техническую помощь, пришли к отличному решению. Ведь речь и тогда шла о пятистах километрах девственной сельвы, на которые претендовали и по-прежнему претендуют мои соотечественники. В этой девственной сельве днем с огнем не найдешь ни одного арендатора из нашей страны, так как сельские жители бегут оттуда в город. Однако на тех же землях есть жители Соседней Страны, и таких насчитывается порядком. Отсюда решение: объявить Ирипарте рекой общего пользования. Линию границы, скорее теоретическую, чем реальную, оставить там, где она есть. Нашим колонистам, выразившим желание поселиться на оспариваемой полосе — а таких не предвидится, — предоставить за счет той стороны всевозможные льготы по части сельскохозяйственного оборудования и прочее и прочее, отнестись к ним по-братски, ибо невозможно разобратся, какой стране принадлежит земля, отданная колонисту, пока он разъезжает по ней на своем коне. Помимо этого, Соседняя Страна предоставляет также право свободного проезда в пограничной сельве и освобождает от пошлин... всех, кто пожелает приобрести земли на территории, значащейся пограничной...

«Потрясающе! Ну, просто потрясающе! — восклицает Сеньор Посол, ознакомившись с решением. — Генерал Мабильян предстанет перед всеми дальновидным и деловым человеком. Все будет улажено без официального изменения границы. После провала учений по противовоздушной обороне наш генерал вполне может заявить о том, что войны не будет. Он вернет матерям сыновей, а женам мужей. И честь моей страны будет спасена!» — «Но к этому решению ты должен был прийти сам, своим умом», — говорит Супруга Сеньора Посла. В этот вечер она смотрит на меня каким-то проникающим и странным взглядом.

V. ПЯТНИЦА В ПОНЕДЕЛЬНИК ИЛИ ЧЕТВЕРГ В БЛИЖАЙШИЙ ВТОРНИК

С того самого дня, когда был объявлен одобренный вариант решения Пограничного Конфликта, а прошло уже несколько месяцев, Бывший Начальник Президентской Канцелярии стал незаменимым сотрудником по-

сольства, предоставившего ему политическое убежище. Его усилиями был налажен выгодный обмен хлопка на табак, его усилиями развивалась торговля вещами, вчера еще не имевшими цены на внешнем рынке, такими, к примеру, как индейское пончо — национальная одежда, которую, как правило, ткали в Лондоне. Со складов Соседней Страны на здешние прилавки завезли птичек из жженого сахара, медовые коврижки в виде забавных зверьков, повидло в глиняных бочонках. В магазинах появились ворсистые войлочные шляпы, широкие расшитые пояса, кофточки с квадратным вырезом деревенской работы. А заодно с ними глиняные церквушки — хранительницы домашних святых, гитары, сделанные народными мастерами, скрипки из селения Петаче, где каждый второй — *luthier*¹. Все это, вместе взятое, придавало стране, лишенной фольклорных примет в тканях, посуде и безделушках, экзотический характер, который так привлекает иностранных туристов... Но и это еще не все! Бывший Начальник Президентской Канцелярии, уставший от безделья, погруженный во время без времени, где понедельник мог быть вторником, а вторник четвергом, добровольно взялся за посольскую работу. И пока Сеньор Посол зачитывался очередными томами Сименона, воображая себя инспектором Мегрэ, Бывший Начальник Президентской Канцелярии редактировал дипломатические ноты, конфиденциальные письма, сообщения в министерство иностранных дел, доклады, меморандумы и т. д. и т. п. «По-моему, посол моей страны — это вы», — усмехался Сеньор Консул, который любил наведываться в посольство без звонка... «Чтобы шпионить и доносить», — говорил Сеньор Посол, лютой ненавистью ненавидевший злое лошадиное лицо Консула. В один из дней Бывший Начальник Президентской Канцелярии изъявил желание принять подданство Соседней Страны. «Ты сошел с ума!» — удивился Сеньор Посол. «В вашей превосходной конституции сказано — ты берешь в руки том, листаешь страницы и тычешь пальцем в нужную тебе статью, — что любой иностранец, пробывший свыше двух лет на территории страны, может возбудить ходатайство о предоставлении ему подданства. Я нахожусь на территории вашей стра-

¹ Скрипичный мастер (*франц.*).

ны и подчиняюсь законам вашего государства. Если бы я совершил в вашем доме преступление, меня бы судил только ваш суд». — «А ты намерен провести в этом доме целых два года?» — «Я здесь уже несколько месяцев. И хочу напомнить, что один знаменитый политический деятель Латинской Америки прятался в посольстве братской страны семь лет подряд. Срок более внушительный, чем у Ионы, просидевшего в чреве китовом, и не менее длительный, чем у Сильвио Пеллико¹». — «Вот проживешь здесь два года, тогда и посмотрим!» — «Проживет, проживет!» — сказала Супруга Сеньора Посла с такой убежденностью в голосе, что я невольно подумал о том, сколько месяцев — сколько еще? — мне суждено жить в этом мире, затерянном между Вечностью Бога и Вечностью Утенка Дональда.

Сегодня Сеньор Посол, одетый в парадный сюртук, ушел из дому очень рано, чтобы присутствовать на Военном параде, который проводится ежегодно в День Отчизны. Мы завтракали вдвоем: Супруга Посла и я. Потом мы перешли в маленькую библиотеку, которая осталась от прежнего посла. «Здесь нет ничего интересного, — сказала Супруга Посла, — этому сеньору хотелось показать, что конкистадоры Америки обнаружили на наших землях все те чудеса, которыми напичканы рыцарские романы. Отсюда и эта библиотека (выразительный жест): «Амадис Гальский» — один кирпич, «Пальмерин из Тиркании» — еще один кирпич, «Рыцарь Сифар» — два кирпича!» Я взял томик «Белого Тиранта». «А этот?» — «Три кирпича. Ты, должно быть, никогда не представлял себе мира героини, названной Услада Моей Жизни, той, что спрятала рыцаря в полуприкрытом сундуке и показала ему все прелести обнаженной принцессы... Вот что она говорит (Супруга Сеньора Посла театральным жестом раскрыла книгу):

О Тирант, мой господин! Где ты теперь?

Отчего ты не рядом со мной?

Отчего не любишься тем, что

Дороже всего тебе в жизни?

О Тирант, мой господин, ты взгляни поскорей,

Что за дивные волосы у прекрасной принцессы моей.

¹ Сильвио Пеллико (1789—1854) — итальянский писатель, приговоренный за свою деятельность в пользу объединения Италии к 15 годам заключения.

Я от имени твоего их целую,
Лучший из лучших рыцарей в мире!
Что за рот и глаза:
Я от имени твоего их целую.
Что за груди хрустальные!
До чего они хороши и упруги, белы и гладки!
А живот ее, бедра, потайной уголок!
Горе мне, не мужчиной я рождена...»

Супруга Сеньора Посла заразительно смеялась над забавными оборотами речи и недвусмысленными намеками. Еще заразительнее она смеялась, когда мы дошли до главы, повествующей о сне Улады Моей Жизни, особенно там, где принцесса говорит: «Не трогай меня, Тирант! Не трогай!» Именно в этот момент я, успевший прослыть страшным педантом, сказал: «Не надо читать до конца!» Потом, когда мы спохватились, что солдаты и офицеры, смешав строй, уже возвращаются с парада, организованного в честь Дня Отчизны, нам ничего не оставалось, как одеться и поспешить в салон, чтобы встретить Сеньора Посла. Супруга Сеньора Посла взяла записную книжечку: «Главное все продумать. День Отчизны подарил нам восемь часов полной свободы. День Героев подарит верных шесть, потому что после возложения венков устраивают коктейль. От столетней годовщины со Дня Провозглашения Независимости мы получим целых девять, стало быть, сумеем и пообедать. Дни Национального Траура — а их шесть — дают по четыре часа с лишним: там говорят подолгу. (Чтобы не ходить на эти действия, я распустила слух, что страдаю печенью.) Есть еще и Новогодний Прием во дворце Мирамонтес — пять часов; День Вооруженных Сил — куда больше восьми, потому что после парада в офицерском клубе дают обед. Прибавь к этому карнавалы с коронацией Королевы, приемы в посольствах, хотя туда я все-таки хожу, чтобы не было кривотолков. Зато все потерянное время нам возместят церемонии открытия памятников национальным героям, а в вашей стране их хватает! И это еще не все! Приложение к руке нунция его Святейшества — раз! Посещение дома, где родился какой-нибудь просветитель прошлого века — два! Торжества по случаю открытия плотин, шлюзов, мостов и т. д. и т. п. Словом, каждый день мы можем рассчитывать на праздник!» В эту самую минуту в салон вошел Сеньор Посол, весь взмок-

ший, с размякшими катышками крахмала на воротничке; и уже в дверях, тяжело отдуваясь, начал жаловаться на все сразу: на страшную жару, на трибуну, которую догадались поставить прямо против солнца... «Военные атташе США тотчас распознали в моторизованных частях весь утиль второй мировой войны! А тут еще страшная пылица от пехоты, с ее дурацким утиным шагом, на который вдруг завели моду...»

VI. ЛЮБОЙ ДЕНЬ

Согласно решению Панамериканской Конференции от 1928 года (статья вторая, параграф второй), дипломатический представитель, предоставивший политическое убежище какому-либо лицу, должен в обязательном порядке уведомить об этом министерство иностранных дел той страны, чье подданство имеет данное лицо. Поскольку Сеньор Посол незамедлительно выполнил это обязательство, у посольства с первого же дня встали часовые, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками, смущая тех редких просителей, чьи дела оказывались за пределами консульских полномочий... Вот почему торопливая суматошная стрельба отзывалась в то утро в глубине твоего живота противным холодком. Рядом с тобой, между церковью Чудотворной Девы и витриной детского магазина, полиция расстреливала демонстрацию студентов, которые еще так недавно играли в игрушки и вот теперь выступили против конституционной реформы, затеянной генералом Мабильяном с тем, чтобы обеспечить себе восьмилетнее пребывание у власти, а заодно, если понадобится, и переизбрание на второй срок, конечно, путем всенародного плебисцита. Мне очень бы хотелось оказаться на улице вместе со студентами, кричать, швырять камнями, булыжниками, стаскивать полицейских с лошадей. Но, замурованный в стенах этого дома, да еще при двух часовых, приросших к дверям, я был бессилен. А кроме того, я знал во всех деталях, какие меры наказания, да еще с какой злобной яростью, будут применены к первой группе схваченных студентов; я знал, что такое переполненные тюрьмы (арестованные в последнюю очередь и посему попавшие в ближайшие гостиницы даже

и не подозревают о том, какие они счастливики!); я знал, что такое пытки и унижения из классического набора гестапо и американского ФБР; что это такое, когда человека заставляют стоять часов двенадцать подряд на старой автомобильной шине. Но теперь у нас объявились особые специалисты, не преследуемые законом педерасты, разного рода садисты и насильники во главе со своим заправилой Ястребом, у которого на указательных пальцах и мизинцах были невероятно длинные и твердые ногти, оставлявшие глубокие рваные раны на человеческой глотке. А помимо них — сексуальные извращенцы и дебилы при документах и удостоверениях, свидетельствующих в нужном случае о том, что они являются агентами политической полиции правительства.

Ты влюблен, и теперь тебе кажется, что любовь эта чуть ли не преступление. Ведь люди, прошитые пулеметной очередью, — все те же (хотя они принадлежат другому поколению), что еще совсем недавно с твоего благословения проникали в мир философии. Те самые, что любили повторять в шутку: «Два механизма правят миром: секс и прибавочная стоимость». Те самые, что пытались понять, отчего философы-материалисты придают такое значение досократовским текстам, таким покалеченным и разрозненным, что нет никакой возможности проследить четкое развитие мысли... Ты высываешься из окна: на мостовой лежат несколько раненых «из твоих». Одни неподвижные, другие, истекая кровью, из последних сил стараются доползти до колонн, о которые еще ударяются пули. Ты спешешь к Супруге Сеньора Посла и заливаешься слезами, уткнувшись в ее колени. «Ужасно! Ужасно, — говорит она. — Полицейские — настоящие звери в нашей стране!» — «Особенно теперь, при американских инструкторах». Ты рыдаешь. Но она знает, как тебя утешить. И тебе хорошо. Она лежит рядом с тобой, а ты зарываешься в ее мягкое тело, и становится темно, как ночью.

Какой сегодня день? Не знаешь. А число? Понятия не имеешь! Какая разница? А год? Единственный зримый год указан на фасаде магазина скобяных товаров: «Основан в 1912 году». «Возможно, он должен служить точкой отсчета?» — усмехаешься ты с горечью. А теперь снова любовь. Любовь, у которой нет ни времени,

ни чисел. Как в песне, которую поет одна французская певица: «Наступи вдруг конец света, мы его не заметим!» Любовь в этом заточении, в этом обособленном мире, в этом времени без времени делала меня похожим на человека, который накурился опиума в незнакомом доме; очнувшись, он бы не понял, где находится, и, подобно несчастному Ельпенору¹, сорвался бы в пустоту. Тем не менее ты действительно любишь Супругу Сеньора Посла — она зовется Сесилией. Ее руки — белые, глубокие — тебе необходимы. Сейчас, когда ты так несчастлив, Сесилия дарит тебе и нежность матери, и заботливость няньки, и жаркий пыл любовницы. Вместе вы обдумываете план самых решительных действий, нацеленных на уничтожение Сеньора Посла. Быть может, мышьяк?.. Но как его раздобыть, не вызывая ничьих подозрений? Цианистый калий? Вот где началась бы захватывающая игра, которая продлилась бы до «физического уничтожения» Сеньора Посла: яд надо положить в одну из таблеток, которые Сеньор Посол принимает перед сном, и перемешать все таблетки, как игральные карты. И набраться терпения. Сегодня не вышло — выйдет завтра. Осталось всего три таблетки, а когда останется только две, можно готовиться к похоронам. Подумать, какие ленты и ордена должен унести в другой мир покойник! Когда же останется одна-единственная? Ночь волнений, не поддающихся описанию... Но кто пойдет за цианистым калием? И продают ли его в аптеке? Лучше всего кураре: он не оставляет никаких следов в организме. Один укол отравленной иглой — и полный паралич: человек падает замертво. Но чтобы заполучить кураре, который индейцы хранят в выдолбленных тыквочках, надо добраться до тех мест, где они живут. Попасть туда можно только на лодках и каное — уйдет целый месяц, не меньше! Вы оба плачете от сознания собственного бессилия, от общего горя. Какими вы были бы счастливыми у гроба Сеньора Посла... Тыходишь к окну. Стрельба прекратилась. С мостовой убрали раненых — а может, убитых, — пуля пробила стекло в витрине и сбросила с помоста Утенка Дональда: в его картонной груди темнеет маленькое отверстие.

¹ Ельпенор — один из спутников Одиссея. Во время пребывания у волшебницы Кирки, будучи пьяным, лег спать на крышу дворца, упал оттуда и разбился.

Поскольку события припелись на День Героев, в лавке не было ни души, и никто не мог поставить игрушку на место. Утенок лежал на спине оранжевыми лапками кверху.

VII. ТО ЛИ ВТОРНИК, ТО ЛИ ЧЕТВЕРГ

С наступлением поры дождей дипломатические отношения между обеими странами заметно ухудшились. Пограничный Конфликт начал разгораться с новой силой. Заодно разгорались и былые страсти. Но генерал Мабильян решил несколько остудить воинственный пыл, для чего мобилизовал все свои центры пропаганды и цензуры. Генералу Мабильяну нужна была армия внутри страны, чтобы разгонять демонстрации, умирять бастующих, сохранять комендантский час, сжигать подозрительные дома и учреждения, патрулировать улицы и т. д. и т. п., вот почему он полагал несвоевременным и неразумным перебрасывать воинские части к границе в сельве. Его прежнее высокомерие по отношению к Соседней Стране сменилось политикой терпимости и даже желанием сотрудничества. «Никаких международных осложнений!» — повторял он то и дело. И особенно теперь, когда США приобрели большие горнорудные концессии на спорной территории. В общем, обстановка в стране была настолько неясной, что министерство иностранных дел срочно вызвало Сеньора Посла для доклада. Поездка предполагалась дней на пятнадцать, не меньше. Супруга Сеньора Посла укладывала чемоданы с необыкновенным старанием и наутро проводила своего благоверного в аэропорт, где ее очень порадовал самолет: он был такой устаревшей конструкции, что один его вид говорил о неизбежности катастрофы. Механики называют такие самолеты «летающими гробами».

На другой день в посольство явился Сеньор Консул. «Теперь вы мой соотечественник!» — проговорил он, заключая меня в объятия и протягивая документ, свидетельствующий о моем новом подданстве. Отныне мой герб — я вижу его на всех полученных мной бумагах — две чуткие пантеры, задремавшие на катетах золоченого треугольника, в чьем масонском происхождении не при-

ходится сомневаться, если учесть, что героем моей новой родины был князь Кадош из масонской ложи. «Но это еще не все,— продолжил Сеньор Консул, и по его торжественному тону, по особой модуляции голоса я понял, что речь пойдет о чем-то особо важном.— В течение этих лет,— говорил он четко и медленно,— я информировал министерство о вашей деятельности: улаживание Пограничного Конфликта, активизация торговли, успешный товарообмен между нашими странами и т. д. и т. п. У нас осведомлены обо всем, что вы сделали для нашей страны в ту пору, когда она еще не была вашей. Все знают, что от этого кретина,— он кивнул на пустое кресло,— не было никакого толку. Вот почему,— он повысил голос,— вы назначаетесь послом моей страны вместо него!» Видя мое недоумение, Сеньор Консул поспешил разъяснить, что в его стране — в нашей стране — пост посла, как правило, получают не профессиональные дипломаты, а люди яркого ума и блестящих способностей: писатели, экономисты, общественные деятели, журналисты. Кроме того, использование на дипломатической службе, да и в науке, лиц, принадлежащих другим странам нашего континента, стало уже традицией в Латинской Америке. Многие кубинцы были министрами в странах Центральной Америки. Андрес Бельо¹ был ректором чилийского Национального университета. «Вспомни и...» Я прервал начавшийся было список: «Да кто мне даст агреман?» — «Ну, знаете, при такой ситуации, когда генерал Мабильян пытается выудить сто пятьдесят миллионов долларов у «Союза ради прогресса» и всячески старается наладить отношения с нашей страной, он даст агреман даже Джеку Потрошителю!» (Смех.) — «А как же Сеньор Посол и его Супруга?» — «Что касается Сеньора Посла, то должен вам сказать, что он вызван в министерство исключительно для того, чтобы услышать о назначении в Готенбург в качестве консульского агента. А что касается его Супруги, то мы, если она не будет возражать, можем оставить ее здесь Секретаршей посольства».

Агреман был дан без промедления. И в следующий вторник Бывший Начальник Президентской Канцеля-

¹ Андрес Бельо (1781—1865) — венесуэльский писатель, ученый и политический деятель.

рии вышел из дверей посольства, предоставившего ему политическое убежище, чтобы отправиться во дворец для вручения верительных грамот. Часовые — это был их последний день пребывания на посту — взяли на караул... Сюртук Сеньора Посла оказался ему в самый раз, в цилиндр затолкали несколько газет, чтобы он держался на голове. Перчатки кремового цвета были тесноваты — пришлось держать их в левой руке наподобие пучка спаржи... В общем, все в этот день было прекрасно и удивительно, от машины министерства иностранных дел до любезной и пустой беседы с заведующим Протокольным Отделом. Случилось это во вторник. Вторник! Вторник 28 июня! 28 июня! Название этого месяца вызывает в памяти солнечные пляжи, широкий простор... В сопровождении заведующего Протокольным Отделом Бывший Начальник Президентской Канцелярии прибыл во дворец Мирамонтес.

Он не ответил на умоляющие, искательные взгляды сержанта Крысы и прошел в парадный вестибюль. Ему были оказаны все воинские почести, после чего он был введен в кабинет генерала Мабильяна, который встретил его чрезвычайно любезно и очень мило сыграл роль в спектакле вручения верительных грамот, имеющих во всех странах и при всех случаях почти один и тот же текст. Затем генерал произнес короткую речь, не забыв упомянуть о «вечной дружбе» между обоими народами, о «благоприятных сдвигах в деле взаимопонимания», достигнутых теперь, «на пороге процветания двух стран», о «славном прошлом каждой из них», о «братских узах», которыми они связаны, и о еще более крепких и еще более братских узах дружбы в будущем, и о прочих вещах в том же стиле и в том же духе. В ответном слове новоиспеченного Посла мелькали те же самые слова: «процветание», «дружба», «взаимопомощь», «братья», «континент будущего», «третий путь решения идеологических конфликтов эпохи, найденный дальновидными правительствами Нового Света»... и все прочее, что говорится в подобных случаях. За процветание обеих стран было выпито два бокала шампанского. Затем последовало крепкое рукопожатие, во время которого генерал Мабильян успел шепнуть Бывшему Начальнику Президентской Канцелярии: «Я намеренно не позвал фотографов, чтобы не было некоторых осложне-

ний. Пусть будет сообщение в печати, и все решат, что это ваш однофамилец». — «Я понимаю вас, генерал!» И генерал, понизив голос еще на один тон, почти шепнул: «А ты, Рикардо, шельмец!» — «Ну а как, генерал, насчет европейских женщин, элегантных, изысканных и умеющих поддержать беседу?» — «Поди ты к...». Заведующий Протокольным Отделом приблизился к ним, давая понять, что аудиенция окончена. Новый Посол удалялся к дверям спиной и учтиво отвешивал поклоны при каждом шаге. Выходя из кабинета, он еще раз открыл штору и, заглянув внутрь, сказал: «Чао, Фелипе!»

Супруга Посла ждала меня с обедом, в меню которого входили великолепные блюда и вина: любимые мной русские соленые огурчики, манго, очень подходящий для подобных случаев, французские каперсы, которые так хороши под бразильскую кашасу¹. Раненого Утенка Дональда заменили другим, новехоньким. Но теперь он не так уж настойчиво ассоциировался в моем сознании с мыслью о Вечности. Да и лампочки Эдисона из магазина скобяных товаров уже не воскрешали в моей памяти Менло-парк, как это было еще вчера. Я оборвал с календаря все мертвые листья, пока не появился вторник 28 июня. Наступили лучшие времена. И когда в столовую вдруг ворвалась латынь, несколько затуманенная парами наспех распитой кашасы:

*Dum esset Rex in accubitu suo,
nardus mea dedit odorem suavitatis,*

мы ее тут же заглушили трубой Армстронга, найденной на короткой волне. На завтра мне стоило большого труда осмыслить, что в моей жизни наступила среда и что у среды есть свои обязанности. Но с четверга дни обрели свои названия и выстроились во времени, которое дано человечеству. И начались дни и дела...

¹ Кашаса — тростниковая водка.

ГУСТАВО ЭГУРЕН

Тени на белой стене



GUSTAVO EGUREN

EN LA CAL DE LAS PAREDES

*Перевод С. Вафа**

* Перевод повести впервые опубликован в журнале «Иностранная литература», № 1, 1974 г.

В вечерних сумерках сияние заката, поблескивая на гранях мебели, создает образ нереального мира, мерцает в зыбкой игре светотеней, высвечивает пыль, которая как бы запорошила далекие воспоминания и мечты. Мечты, побудившие когда-то собрать воедино украшения разных стилей и эпох: севрскую фарфоровую вазу, ковер с изображением соколиной охоты и хрустальную люстру с подвесками, которые позвякивали от малейшего дуновения во время шумных приемов, щедро расточая ослепительный блеск на старинную мебель, на улыбки, всегда готовые использовать свой неизменный, непогрешимый дар чередовать самый строгий аристократизм с печальным притворством, легко переходящим в цинизм.

Но трудно закрыть глаза. Невозможно в один день погасить последние вспышки разума, который созрел, множа свои способности приводить самые несхожие вещи к общему знаменателю, который привык жить собственной, независимой жизнью. Невозможно отказаться от всего, сказав себе только: откажись. Наконец, нельзя отречься от самого себя, забыть то, что год за годом, минута за минутой формировало твою личность. Нельзя забыть свои сомнения, переживания, даже если они были лишены всякого смысла. Легко сказать: «закрыть глаза», ведь это все равно, что добавить: «навсегда».

И вот теперь, при свете заката, он снова стоит у окна, распахнутого настежь после долгих лет одиночества и нетерпеливого ожидания, — все это время он смотрел, как падают листья, и думал, что это последние

листья, которые приходится видеть через закрытое окно, отделявшее от мира прекрасных и близких сердцу воспоминаний, — у окна, распахнутого навстречу ветру, дующему с моря, уже забытого и как бы враждебного, вставшего между настоящим и прошлым, между любовью и тоской; навстречу тому, что когда-то было благоуханием тубероз, бегоний, вьющейся вербены, цветущего кактуса, а стало одичалостью и запустением, наполненным запахом горькой полыни, опавших листьев и сорных трав, разросшихся от неухоженности, от губительного семени, прорастающего вокруг. Теперь, при свете заката, когда уже нет ослепляющих вспышек солнца, а лишь его смутные отблески, разве может он — глядя с горечью на свои руки, избравшие совсем другую жизнь, — заставить себя хотя бы мысленно отказаться от всего, к чему привык, ради чего жил, существовал, дышал?..

Теперь, глядя на свои руки, только что распахнувшие окно, которое он закрыл когда-то очень давно — в пору своего наибольшего одиночества, а может быть, и отчаяния, — он говорит себе, что не так-то просто смириться с тем, что происходит вокруг, нелегко видеть, как рушится привычный мир. И невозможно за один день и даже за десять лет научиться искусству или странной добродетели других.

Он стоит недвижно. Отводит взгляд от рук. Ветерок, долетающий издалека, будоражит тяжелый дух заточения. Глаза устремляются в ночную пустоту. Слух силится уловить давно смолкнувшие и вдруг вновь зазвучавшие голоса: сначала тихо, робко, потом все громче и громче, уверенные в прочности и незыблемости высокомерного мира, которому не грозят несчастья, потрясения и тем более упадок. Гулкого мира надменных жестов, беспорядочной, торжествующей, захлебывающейся речи.

— Отсюда поднимется лестница...

Рука человека твердо указывает в пустоту. И этот жест обнаруживает извечный заговор против пространства. Ибо, если такой человек указывает рукой в пространство и дает ему название, оно уже не избежит предназначенной ему участи.

— Отсюда поднимется широкая, просторная мраморная лестница, по которой взойдут...

И ни о чем не ведающий воздух облачают в парадное платье. Большие сильные руки мастеров из-за океана, привыкшие к грубой осторожности обращения с мрамором, придают камню тот блеск, который призван возвеличивать знать. Бронза занимает подобающее ей место. Красное и черное дерево карабкается вдоль стен. Толстый ковер скользит по ступеням, облекая в пурпур белизну каррары.

— Этот дом простоит века...

Когда такой человек во всеуслышание заявляет, что его род не признает границ времени; когда человек с такой биографией и такой судьбой останавливается хотя бы на миг у подножия пространства, которому отныне и навсегда суждено стать лестницей, облицованной самым изысканным, самым лучшим в мире мрамором, самым красивым и дорогим деревом; когда такой человек создает из воздуха нечто реальное и видит будущее так же явственно, как собственный кулак, — его слова не исчезают бесследно, но разлетаются по ветру, забиваются в углы, кружат в воздухе, чтобы в один прекрасный день снова зазвучать вопреки обстоятельствам, событиям, даже поражениям, зазвучать с прежней силой и убежденностью:

— ...по ней взойдут будущие поколения моего рода...

И человек, только что смотревший с сочувствием на свои руки, видит уже не руки, а стремительный поток, который не перестает струиться, словно бурная, полноводная река, видит уже не окно, открытое в неведомую ночь, а блестящий, бессмертный проект, и слышит уже не голос своих предков, а гром истории, рокочущий, вездесущий, протестующий, зовущий, как клич охотничьего рога в лесу, к расправе над раненым кабаном, когда уже пахнет кровью, потом, грязью, неистовым запахом боен.

Может ли человек сказать: «Вот сейчас, в эту минуту, кончается часть моей жизни» — и не рассматривать свое существование как неразрывное целое, как пересечение линий (возможно, уже определенных предзнаменованием), как нечто такое, где развязка опережает начало? Может ли он решить свою судьбу? Если, сам того не желая, оказался в положении, не имеющем выхода,

когда наши наблюдения, чувства, память — все то, что мы собой в конечном счете представляем, — не допускают ошибок. Другие сумели это сделать — во всяком случае, пытались, — а он не смог.

Вот почему он не находил ответа на тот вопрос, которым они теперь часто кончали свои разговоры.

— Не знаю.

Это все, что он мог ей ответить. Но в тот вечер они пошли дальше обычного.

— Я решила, Хорхе Луис... — сказала она.

Знаменательно, что она произнесла эти слова с улыбкой. Ни прежних уговоров, ни объяснений, ни гнева, ни упрека, ни слез. Просто усталая, печальная улыбка.

Пальцы ее слегка дрожали, когда она разливала чай, и он поспешил ей помочь.

— Спасибо...

Но было достаточно посмотреть на нее, чтобы понять: она благодарила не за то, что он поддержал чайник, который она едва не выронила, а за спокойствие, с каким были встречены ее слова, за его взгляд, в котором она прочла окончательный ответ, за молчание и особенно за деликатность, с какой он избегал ненужных объяснений, для которых у нее уже не оставалось сил.

Она налила чай и протянула ему чашку.

— Мне жаль сада, — сказала она.

Любые, даже самые невинные слова, сказанные им по этому поводу, свели бы разговор к той главной теме, которой оба избегали. Вот почему он лишь молча покачал головой, как обычно, когда решал трудный вопрос, и, деланно улыбаясь, взял ее за руку.

Он почувствовал легкое пожатие ее бледных пальцев, услышал ее невнятное бормотание и наконец:

— ...хотя мне и придется для этого отказаться от тебя.

Но он тоже принял решение. Вернее, пришел к заключению, что никакого решения принять не сможет. И все же, ощущая легкое пожатие ее пальцев, чувствуя, как они ускользают, ускользают куда-то и теперь уже навсегда, и нет никакой возможности удержать их, как нельзя остановить ход событий, от которых все перевернулось вверх дном, он едва не схватил эти руки и не стал ее умолять. Но не сделал этого, потому что ее улыбка мягко просила его не прибегать к сентименталь-

ным доводам. Слишком уж выразителен был намек, чтобы его не понять. И ей это было известно.

Но она смотрела ему в лицо, в глаза, она хорошо знала, почему он держится за подбородок и молчит, и в душе ее рождались тысячи воспоминаний, а значит, можно было, как уже не раз, попытаться убедить ее. И все же он лишь повторил торжественно и многозначительно, с той обреченностью, какую можно прочесть на лицах людей, сфотографированных незадолго до смерти, когда печать неизбежного уже легла на них:

— Спасибо.

И, отодвинув чашку, перевел взгляд на заросли молодого виноградника в саду — там не было ее увлажнившихся глаз, которые могли все погубить, там не слышался ее раздраженный голос, ибо в минуты расставаний мы всегда склонны упрекать себя и думать, что если бы нам повезло немного больше, то не пришлось бы смотреть на сорную траву, которая грозит поглотить остатки дома, не пришлось бы улыбаться, держась рукой за подбородок, глядя в какую-то точку, далекую от ее глаз и еще более далекую от ее голоса, уже в который раз твердившего то, к чему он по-прежнему оставался глух:

— ...не понимаю, кому нужно это твое упорство, Хорхе Луис. Все было бы так просто!

Ему хотелось ответить: «Это не упорство, упорство тут ни при чем», снова постараться убедить ее, и даже не убедить, а объяснить... Но вместо этого он лишь сказал:

— Пожалуй, так будет лучше.

После чая — кофе слишком будоражит нервы, — сидя за роялем против балюстрады, выходящей к морю, приятно проводить часы в тихом уединении, еще более тихом, чем сама тишина, чувствовать, как немеют кончики твоих пальцев, а море становится лишь шумным отголоском, чем-то бурлящим вдали, чем-то просеивающимся сквозь занавеси, которые колышет легкий бриз.

«Мир звуков ослепителен. Кто сумеет оценить звуки, тот научится слушать тишину». Старый учитель склонился над роялем и нетерпеливо шевелит пальцем

перед своими очками, стараясь с помощью этого жеста выразить то, чего не в силах выразить слова, настаивает на невозможном: «Тишина полна звуков, они бледнеют и вспыхивают, как краски. Семь лет одиночества перед камнем — как у индусов — лучшая школа для музыканта!»

В ту минуту, когда рука, соскальзывая с клавиш, медленно опускается на колени, а последние звуки еще вибрируют в воздухе и вся фигура замирает в скорбной позе в полумраке комнаты, погружаешься в мир звуков, призраков, воспоминаний, забываешь об одиночестве, о том, что тебя окружает. Старый учитель, умерший почти пятнадцать лет назад, словно живой, шевелит пальцем перед своими мутными глазами, беззвучно движутся его губы, и как никогда ощущаешь его присутствие. В ту минуту, когда последние звуки рояля замерли в воздухе, слившись с бликами света, которые просеиваются сквозь занавеси, воцаряется полная тишина; дерево, камень, песок, железо, глина — весь дом от фундамента до крыши наполняется иными звуками, неповторимыми голосами царства мертвых. Шум моря становится явственным. Без этого шума вечность была бы невысказанной. Та самая волна, которая разбивается о берег, когда-то звучала для других. Она разбивалась тысячи раз об этот берег и о тысячи других берегов, лизала доски и обрушивалась на палубы множества кораблей, которые вели неистовые конкистадоры, охваченные неудержимым стремлением найти свое счастье, жаждавшие новых завоеваний, упорные в своих надеждах. Эти люди бороздили моря и океаны еще в те времена, когда берега кишели диким зверьем, а коварные пропасти подстерегали на каждом шагу тех, кому так и не суждено было стать героями. Эти люди пересекали знойные луга новых земель, плыли по их быстротечным рекам, содрогались от кровожадных голосов и диких песен сельвы, но никогда не теряли надежды, несмотря на опасности, подстерегавшие их лунными почками, несмотря на ненависть и смерть, потому что рядом всегда было море — их союзник. То самое море, которое привело их к этим берегам; но, преисполненные неукротимой веры в свое будущее и неодолимого упорства, они вряд ли задумывались об истинном значении своих поступков.

И вот однажды, когда волны бились о нос корабля, офицер, опершись одной рукой о борт, а другой указывая в сторону слабо освещенного города, говорил: «Смотри, сын, вон Гавана». И юноша, не в силах сдерживать свое нетерпение, искал ее жадным взором, словно уже догадывался, знал наперед...

— Долго ждал я этой минуты...

...словно уже знал наперед о предстоящих невзгодах, о душных ночах в помещении позади лавки, пропитанной запахом трески, оливкового масла, бурого сахара, наполненной звоном миллионов mosquitos, где ма-родерствовали крысы и бесчисленное множество тараканов. Знал, что значит работать допоздна под открытым небом, прежде чем сунуть голову под живительную струю воды, а потом пробираться на ощупь среди высоких штабелей из мешков с рисом и турецкими бобами, натыкаясь на связки лука и толстые ломти вяленого мяса, чтобы оказаться наконец на кухне, греть руки о чашку с горячим шоколадом и есть теплый хлеб, только что вынутый из печи. Смотреть, как Леонсио, родом из Астурии, колдует над чугунками, рассказывая о своей деревушке в горах с такой безысходной тоской в голосе, словно уже не надеется туда вернуться, а его могучие руки раскладывают по тарелкам жаркое с благоговением, которое объясняет, почему он навсегда связал свою судьбу с кухней.

И вдруг сам Сеферино скажет с противоположного конца стола, ни к кому не обращаясь, будто желая лишний раз убедить самого себя:

— Сюда приходят, чтобы одержать победу!

Этот коротко стриженный человек с пронизательными глазками, уже мягко, по-местному произносивший букву «с», но твердо решивший не терять зря ни одной минуты, вдруг впервые обратился к нему через весь стол:

— Эй! Ты, кажется, из Леванта? — И не дожидаясь ответа: — Скажу тебе, как говорил мой отец: «Чем дольше хранится вино в бурдюке, тем оно лучше и крепче».

Больше он ничего не скажет, потому что в кухню начнут заходить служащие. А еще раньше упаковщики и грузчики кончили погрузку товаров. С шумом поднимается внутренняя железная дверь, и свежий воздух

наполняет магазин. Пускаются в пляс метлы, отбивают чечетку деревянные настилы, из конюшен доносится звон бубенцов на сбруях, и слышится грохот телег по мостовой. Кофейная мельница распространяет душистый аромат, и наконец входные двери магазина распахиваются перед покупателями, когда квартал еще спит. А шум на верхнем этаже хозяйского дома свидетельствует о том, что его обитатели начали свой день еще до восхода солнца.

Тщетно пытался он представить себе образ человека, толкнувшего его на этот опасный путь. Человека во всем белом, с большим бриллиантовым перстнем на пальце, умевшего по-особому говорить, улыбаться, двигаться, засовывать руку в карман и произносить: «В эти часы двери магазина закрыты». Нет, это не был благодушный креол в белой одежде, это был суровый хозяин с золотыми зубами, скрытый за высокой конторкой с кипами счетных книг и бумаг — векселей, долговых обязательств, чеков, нанизанных на острый железный шип или придавленных гирями от весов. Он никогда не позволял себе, подобно креолу, вынуть часы из кармана, чтобы взглянуть, не пришло ли время завтрака. Не говорил: «Пора садиться за стол», он ждал, пока стенные часы напомним ему о еде и подадут сигнал всем — впрочем, далеко не всем, ибо двери магазина закроются лишь поздним вечером, когда усталое тело откажется работать, — занять свои места за длинным столом в помещении позади лавки. Единственном проветриваемом помещении с окнами, выходящими в патио, мощенный плитами, по которым неторопливо, погруженный бог весть в какие думы шествовал хозяин, чтобы сесть во главе стола. Справа и слева от него разместятся управляющий магазином, кассир, администратор, кладовщик и прочие служащие соответственно их рангу. Следом за ними рассыльные, весовщики, грузчики, привратники и, наконец, дальше всех от хозяина, на противоположном конце стола — он. Хозяин хранит молчание, пока Леонсио разносит тарелки с бульоном по-галисийски, или с похлебкой, приготовленной из овощей, мяса и перца, или с фасолью и кровяной колбасой по-астурийски, или с мясом и овощами по-мадридски. А в особенно жаркие дни с холодным супом по-андалузски или неизменными овощами по-ламанчски. Отсюда, с дру-

того конца стола, хорошо видно, как Леонсио большой разливательной ложкой наполняет фарфоровые тарелки супом, от которого исходит аппетитный запах капусты и в котором плавают куски кровяной колбасы. Еда для всех одинакова: и для хозяина, и для него. Только кувшины с вином, налитым из бурдюков или бочек, отмечают непреодолимую границу между хозяйским местом и остальной частью стола. Он смотрит, как хозяин уверенной рукой наливает себе из темно-зеленой бутылки терпкое риохское вино, кажущееся более светлым и легким. И не смеет поднести ложку ко рту, пока хозяин не наполнит свой стакан прозрачным пенящимся вином. Слишком уж велико расстояние, которое отделяет эти два стакана: стакан хозяина и его. Оно несоизмеримо больше того, что отделяет один конец огромного стола от другого. Гораздо больше того, что существует между его натруженной, мускулистой рукой и холеной, властной рукой хозяина. И еще больше того, что было между его поношенной рубашкой и черным пиджаком (единственным за этим громадным столом) — не старым и не новым, а словно вечным. Он видит усталые, потухшие глаза хозяина, его потускневшие, пепельные волосы, жидкие, но все еще непокорные, и мощные челюсти, размеренно жующие, а затем припикивающие к стакану с тем самым игристым риохским вином, которое разливают в бутылки, как и положено вину хозяев, в отличие от другого, неотстоявшегося, кислого на вкус, которое развозят в бурдюках из свиной кожи и пьют скорее для утоления жажды, чем для удовольствия.

В ту минуту, когда властная рука хозяина ставит свой стакан между тарелок, становится ясно, что отсюда, с этого места на противоположном конце стола, будет очень трудно — почти невозможно — продвинуться вперед, шаг за шагом, занимая сегодня место одного, а завтра другого — после его смерти, — чтобы безраздельно завладеть местом справа от хозяина, что уже само по себе означает победу. А потом слушать, как хозяин что-то говорит во время ужина, и подолгу играть в домино под навесом галереи, первый раз за день вдыхая свежий воздух, пока часы не пробьют десять ударов и нужно будет убирать со стола костяшки и тащиться к нарам и тюфяку в ожидании следующего дня.

Начало было трудным, но потом пришли магазины, тростниковые плантации и, наконец, сахарный завод. «У эмигранта хищные когти и нет сердца». Поэтому дремать не приходилось. Сентены¹, луидоры², «исабелины»³, перры⁴, векселя, счета, ящики с сахаром, железные дороги, леса, которые постоянно вырубались, чтобы сахарный тростник мог расширять свои владения, саффа занимали все его помыслы до той поры, пока однажды под паровозные гудки, вопли носильщиков, ржание вздыбленных лошадей не появилась на перроне она в окружении служанок: с нежным и бледным лицом, томным взглядом, с улыбкой, словно ждавшей какого-то чуда. Равнодушная к жаре и крикам, к сутолоке беспорядочно снующей толпы, к свисткам и железному грохоту поезда, горячему пару, ржанию лошадей и возгласам извозчиков, выкрикам торговцев, тучам и хмурому небу, к первым каплям дождя и пыли, которую вздымала надвигавшаяся гроза, она оставалась невозмутимой, будто была уверена в том, что время остановилось, будто для нее вообще не существовало этого понятия. И он, стоя на подножке вагона, тоже не замечал, как облако пара окутало его, не замечал надвигавшегося ливня, впервые забыв о своих огромных плантациях и сахарном заводе, ни на минуту не прекращавшем своей работы. Он видел лишь ее руки, ее невозмутимый взгляд, ее бледное лицо и ее непорочную красоту. Он так и не заметил, как тронулся поезд, как его руки отделились от поручней и как он остался один посреди перрона, когда исчезли все звуки, все признаки жизни. В его сознании сохранились только ее улыбка и ее глаза, на миг утратившие спокойствие при виде человека, который оторопело протягивал к ней руку и удалялся в облаке пара, ошеломленный, растерянный, впервые чувствуя себя покинутым.

С тех пор одиночество стало для него невыносимо. То, что прежде доставляло радость, теперь стало тяготить его. Дым завода уже не клубился так бурно. При виде бескрайних тростниковых плантаций, сливавшихся

¹ Испанская золотая монета.

² Французская золотая монета.

³ Монета с изображением Изабеллы II, королевы испанской.

⁴ Кубинская старинная монета.

у горизонта с небом, он не чувствовал себя теперь могущественным, но еще более потерянным. Первый раз в жизни он не взглянул на свои сжатые кулаки и не повторил слова, которые прежде всегда произносил, сталкиваясь с какой-нибудь трудностью, чтобы увериться в собственных силах, собрать их воедино, подчинить своей воле. Он не посмотрел на свои сжатые кулаки, покрасневшие пальцы и побелевшие ногти. И губы его не прошептали уверенно: «Могу». Потому что на этот раз речь шла не о его силе и непобедимой воле, а о женщине, которая с той мимолетной встречи завладела им безраздельно, очаровала его, стала ему необходима, как сон, как воздух.

Его сжатые кулаки теперь не могли помочь ему. Что значили они в сравнении с тревожным миром шелка, тафты, таинственных улыбок, невнятного шепота и взглядов, способных испепелить своим равнодушием? Во что превратились теперь его ночи, свободные от низменных забот, но не дававшие покоя, ибо его воображение несло ему более утонченные и жестокие мучения, чем все пережитое до сих пор?

Властелин, один взгляд которого заставлял людей трепетать, сидел теперь на балюстраде своего ранчо, слушал отдаленные удары барабана и пение негров, доносившееся из хижины, ощущал влажный морской ветерок, колыхавший тростник, и смотрел не на свои сжатые кулаки, а на беспомощно раскрытые ладони, огрубевшие, нелепые в своем стремлении высвободиться из тисков насилия, непрерывной работы. Вырваться из мира человека, слишком тесно связанного с землей и ее неверными законами, не знавшего иной жизни, кроме той, которая проходит под открытым небом, когда в любую минуту все, что ты имеешь, может быть поставлено на карту, когда все твое состояние зависит от остроты мачете, от споровки, от решимости выжить во чтобы то ни стало, от силы рук, мозолистых, созданных для борьбы и вот теперь бессильных справиться с волшебством простых линий, с тайной самой примитивной каллиграфии.

Впервые в жизни он чувствовал себя растерянным, беззащитным и боялся потерпеть поражение. словно понимал, что, если его безумные мечты сбудутся, он станет неуязвим...

Разве быть волевым — не значит противостоять? И как еще сдерживать этот поток, этот шквал, эти силы, толкающие тебя в бездну, заставляющие не уважать то, что было прочно установлено веками? Разве может буря, которая валит дерево, простоявшее не одно столетие, внезапно утихнуть перед листком вьюнка?

Этот мир создан терпеливым трудом человека, верившего в свои возможности. И этот мир надо любой ценой защитить. Нельзя дать врагу разрушить монастыри, связанные с дорогими воспоминаниями. Нельзя, чтобы визгливые голоса нарушили покой в альковах, которые время сделало священными. Нельзя, чтобы атмосфера, которая создавалась под знаком трагедий, побед, бедствий, разочарований, утрат и радостей — этих капель меда из стольких горьких плодов на длинном пути их семейства, — вдруг исчезла и все это было бездумно растрачено в одно мгновение. Нельзя допустить, чтобы кто-то чужой, грубый и равнодушный со злобой распахнул окна, нарушая прелесть полумрака, стер самые благородные следы, самые глубокие отпечатки, ошибочно истолковав эти знаки величия, смысл этих линий на стенах, разумеется непонятный тем, кто не знает о бабушке, которая связывала все несчастья с потусторонними силами. Нельзя допустить, чтобы они стали смешивать эти линии с другими, оставленными руками детей, которые, не успев созреть, исчезли, сохранив после себя едва уловимый аромат, едва заметный след для тех, кто увидит их линии на стене, но не услышит их тихого плача. Нельзя позволить, чтобы этот дом вдруг был наводнен глазами, которые увидели бы только роскошь и в одно мгновение разрушили подлинную жизнь, протекавшую здесь, чтобы они изменили ее сущность, превратили в развалины стены дома, проект которого долго обсуждался, стерли краски, без которых немисливо существование, навсегда связанное с теми, кто прошел здесь и исчез, оставив после себя отзвуки — слабые или мощные, — все еще продолжавшие жить, словно часть того здания, которое надо защитить вопреки всему. Теперь ты понимаешь, Исабель, что это не простое упорство?..

Другие поступили иначе. Они являли собой печальное зрелище. Их глаза видели на каждом шагу катастрофу, раскрытые рты застыли в оцепенении. Ими вла-

дела только одна мысль: спасти хоть что-нибудь, хоть куда-нибудь сбежать...

То было поспешное, беспорядочное бегство людей, утративших свою респектабельность, жизнерадостность, щегольской вид, сразу вдруг озлобившихся, занывших, бегущих неведомо куда, не знающих, как объяснить столь неожиданную для них ситуацию. И если люди, потерпевшие кораблекрушение и хватающиеся за спасительную доску, вызывают сочувствие, то эти господа, разбегавшиеся в разные стороны, униженные, подавленные, любой ценой готовые спасти свою шкуру, охваченные паническим ужасом, господа, утиравшие потные лица носовыми платками и смотревшие вытаращенными глазами на своих жен, у которых были такие же искаженные лица, как и у мужей, выглядели жалкими. Эти господа, внезапно вырванные из своего прошлого, вдруг ясно осознали, что прошлого у них не было. Что до сих пор они были лишь хорошо забаррикадированы в своих лавках, магазинах, клиниках, ресторанах, на плантациях, фабриках или же надежно укрыты в стенах своих консульств, адвокатских и нотариальных контор, залов заседаний. Они вдруг почувствовали, что земля уходит у них из-под ног и что необходимо бежать куда глаза глядят, словно крысы во время наводнения. Дрануть, удирать, бросать, покидать, скрываться, ускользать по диагонали, по прямой, по касательной: с тюками, узлами, мешками, портфелями, саквояжами, пакетами, плетеными корзинами, чемодапами, сумками, ридикулями — только бы унести в руках, зубах одну, две или тысячу монет. Они торопились закопать в землю столовое серебро. (И по иронии судьбы находили бабкин кувшин, полный золотых монет, в ту минуту, когда рыли яму, чтобы запрятать туда до возвращения дорогие подносы, канделябры, золотые и серебряные кольца, драгоценные камни!) Они пытались сохранить предметы искусства, все, что было дорого их памяти и так неразумно накапливалось в стране, которая вдруг потеряла управление и тонет, превратившись за одну ночь в огромную фабрику потерпевших кораблекрушение — захлебывающихся, выброшенных за борт, объятых ужасом людей, утративших трагический ореол тех, кому удастся уцепиться за доску среди бушующих волн.

— «Императорский пурпур послужит тебе лучшим саваном». Разве не таким было напутствие матери последнему византийскому императору?

Но они не способны были на бескорыстные жертвы.

— Ты всегда был мечтателем, Хорхе Луис.

— Дорогой кузен, жить — значит надеяться.

В разговор вмешалась Исабель:

— Неужели нельзя не касаться этой темы?

Но он, Хорхе Луис, не ответил ей. Он взболтнул джин, подошел к Исабели и, протянув ей бокал, спокойно сказал, глядя ей прямо в глаза, но обращаясь к кузену:

— И пожалуйста, довольно об этом...

В наступившей тишине его спокойный голос прозвучал неожиданно резко. Роберто скорчил гримасу и пожал плечами. Остальные пили или делали вид, что пьют, стараясь таким образом загладить неловкость. Нос Исабели недовольно сморщился. Она встала и вышла в сад.

— Что-нибудь случилось, дорогая? — спросил он, целуя ее в плечо. И побледнел, увидев ее лицо, пытавшееся быть спокойным, решительным, независимый поворот головы, а затем услышал ее неторопливый голос.

— Ничего, дорогой, ничего, — ответила Исабель, не поднимая глаз.

Теперь он знает: это было так же бесполезно, как отчаянные попытки Марии — неосуществимые, без всякой надежды на успех — сдержать мириады тараканов, проникающих сквозь пазы, трещины, дыры, оставленные небрежными резцами и зубилами (это неудержимое нашествие жутких существ, которые наполняют ночи едва уловимыми разрушительными шорохами), сдержать проникновение мышей и огромных крыс, за которыми последовали жестокие скорпионы, обосновавшиеся в отсыревшей извести полов, а вместе с ветками кустарников, протиснувшихся через щели оконных рам, поползли по стенам слизняки, улитки, мокрицы, обезумевшие полчища муравьев и грызунов.

Против этой яростной атаки, этого бешеного натиска, этих стройных рядов были бессильны метла Марии

и ее неистощимая, несмотря на годы, энергия; непре-
кращающееся разрушительное нашествие еще более
усугубляло распад, подтачивало, разъедало фундамент
дома, обреченного на гибель, вернее, не дома, а того,
что от него осталось. Этой комнаты наверху, которую
он любил называть «мой чердак» и которая теперь слу-
жит ему единственным убежищем, хотя безжалостное
время уже обрушивается своей тяжестью на ее слабые
двери и, словно хищный зверек, ищет уязвимое ме-
сто — какую-нибудь маленькую лазейку или узкую
щелку, — чтобы просунуть туда свою головку и напол-
нить ее разрушительными звуками.

Здесь, на «чердаке», он остается глух к этим шо-
рохам, он, с его безошибочным, тонким, развитым слу-
хом, — хотя и знает, что невозможно уйти от них, как
невозможно уйти от другого вторжения, других зву-
ков, других сил, яростных и неумолимых, готовых на-
пасть из-под земли, обрушиться с воздуха, с моря,
с суши, подкарауливающих на каждом углу, всегда
угрожающих: тайно или явно, откровенно или ис-
подволь. Они витают в воздухе, ими приходится ды-
шать, впитывать всеми порами кожи. Они кроют-
ся в липкой влажности лета, во взгляде прохоже-
го, в наивном вопросе простака — если наивность еще
существует, — в денежных документах, в счетах, кото-
рые требуется заполнить, в чековых книжках, в продо-
вольственных карточках, в тревожных сообщениях, в
неоправданных убийствах, в ненавидящем взгляде или
саркастической улыбке этих безымянных людей, став-
ших вдруг — это верно — могущественными, получив-
шими право смеяться и если не исполненных презре-
ния, то, во всяком случае, прекрасно сознающих, что
они не выглядят смешными. Или этих, других, у кого
есть имя, к кому привыкли в этом доме и называли,
выражая самую насущную необходимость: вино, вил-
ка, Амбросио, Луис, кто в один прекрасный день вдруг
сразу переменялся, и дело не в тех страхах, которые
тетушка Пурита внушала близким, не в сомнениях, ко-
торые прежде казались естественными, а теперь стали
угрожающими, неся с собой смуту, недомолвки, на-
смешки. Опасность была более реальной, и все попыт-
ки умалить ее в глазах Исабели терпели неудачу. Сво-
им безошибочным чутьем она сразу же угадывала

человеческие пороки: лицемерие, фальшь, предательство...

С самого начала он знал, что упорство, с каким он противостоял этим силам, напрасно, как упорство Марии. Прежде достаточно было оборвать разговор на полуслове. Прежде он был благодарен тем, кто незаметно подливал вино в бокалы или опустошал полные пепельницы, теперь они докучали ему. Верные, внимательные слуги превратились в надоедливых и бесцеремонных соглядатаев, которые во все вмешивались. Их приходилось смиренно просить заняться своим делом или отсылать на другую половину дома, только бы они не мешали. Наконец остались самые старые, самые преданные: Мария, Амбросио, Исраэль, и, если бы они ушли, образовалась бы пустота, столь же заметная, как белое пятно, где раньше висел портрет деда, писанный маслом, сохранившее первоначальную чистоту стены. На нем, если поглядеть подольше, проступали суровые черты старика, именно отсюда взиравшего ясными, голубыми глазами на потомков, которые росли, достигали расцвета, переживали блестящие удачи или минуты горечи, отчаяния, невосполнимые утраты и бурные столкновения. О, эти незабываемые глаза!

Но дело не только в слугах. Это в воздухе, в воде, в земле. И это не только перемены в мире реальностей — кому теперь нужен яхт-клуб? — не только общая деградация и невероятные названия вещей, не только исчезновение привратников и слуг, новые лица и привычки, не только отсутствие благовоспитанности. Это в воздухе. Это больше чем пропаганда радио; чем плакаты, уже не рекламирующие, как раньше, а издающие воинственные кличи; чем песни, которые сочиняются теперь отнюдь не для увеселения. Это во взглядах, улыбках, намеках, это в глазах Альфонсо, когда тот подходит к столику в баре со счетом в дрожащей руке и смотрит с сочувствием почти оскорбительным, ибо оно не слишком отличается от сострадания. Это в долгом молчании телефона и дверных звонков. От этого создается ощущение, будто чьи-то широко открытые глаза неотступно следят за тобой...

Вот почему он закрыл двери и окна на засовы, задвижки, щеколды. Хотел отгородиться от мира. Радиоприемник больше не включался. Газеты не покупались.

Все короче и реже становились разговоры с друзьями, и почти только о том — как было условлено, — что «надо жить в согласии и без волнений».

Еще приходили письма из-за границы — правда, очень редко, потому что кубинцы не склонны к эпистолярному жанру, особенно в трудные минуты. Оставалось чтение классиков и верный Пиноккио. Чего еще можно было желать, кроме драгоценного присутствия Исабели, почти нереального, почти милосердного, но непоколебимого, стойкого, безучастного к миру, сломленному, пошатнувшемуся, трещащему по швам? «Ни одной минуты Робинзон Крузо не обладал таким богатством», — подумал он и с этой мыслью навсегда закрыл большое окно и задернул штору.

Во всяком случае, она пыталась сделать все, что могла. И если у нее не выдержали нервы и сдала воля, то разве можно упрекнуть ее за это? Ведь она была полна решимости остаться с ним, выстоять до конца. Просто это оказалось ей не под силу.

— Твоей воле можно позавидовать, Хорхе Луис...

Кто упрекнет ее в том, что у нее не хватило мужества для борьбы, что она, словно утопающий, у которого из рук выскальзывает доска, уже не могла больше противиться шквалу, все переворачивающему и сметающему на своем пути? А бушующие волны все швыряли ее, не давая передохнуть, лишая твердости духа, воли к жизни, надежды на спасение.

Многое его подавляло. И особенно необходимость вести борьбу, не имея иной цели, кроме разрушения. «Жить — значит надеяться». Слова Роберто еще звучали в его ушах, и все еще сохранялся неприятный осадок после того поцелуя в плечо, в котором она угадала потребность его, Хорхе Луиса, в сочувствии, поддержке. Ведь и его что-то мучило, и ему необходимо было сказать хоть слово о своем будущем, о подвиге, который может приостановить это самоубийственное бегство, о последней попытке предотвратить гибель этих людей и этого мира, который именно он собирался защитить.

Он хорошо помнил слова Роберто. Выражение лица, которое у него было при этом, уже стерлось из памяти.

Но в ту минуту его слова заставили Исабель опустить голову, уйти в сад, к клумбе, и в волнении рыть носком туфли сырую землю. Только когда Хорхе Луис прикоснулся губами к ее плечу, она подняла глаза и, обернувшись, посмотрела ему в лицо, омраченное, расстроенное, но исполненное твердой решимости вырваться из круга, очерченного друзьями и родственниками, впервые посмеявшимися сказать ему без околичностей, как говорят люди, которым грозит беда: «Ты никогда не отличался практическим умом, дорогой кузен». Вот почему он был так подавлен. И кому, как не ей, следовало понять, что скрывают суровые черты мужа, когда он спокойно произнес, словно эпитафию самому себе:

— Я остаюсь...

Тогда ей оставалось лишь поддержать его. Во всяком случае, она чувствовала в себе достаточно сил, чтобы попытаться это сделать. Практическим умом он действительно не отличался. Но разве это упорное стремление уберечь хоть частицу мира, который был обречен, это бессмысленное и упрямое желание погибнуть рядом с идолами, в которые уже никто не верил, были под силу мужчине и женщине, привыкшим думать только о собственном благополучии или предаваться тоске о былом, уже вышедшей из моды?

В тот вечер после ухода гостей тишина и одиночество стали особенно ощутимы. А потом список приглашенных стал постепенно сокращаться. Каждый день их становилось все меньше. Каждый день кто-нибудь из самых стойких приходил к убеждению, что ждать больше нечего.

Роберто сказал: «Этот дом без пляжа, без клуба, без яхты никому не нужен». В кладовой еще хранились запасы галет, икры, анчоусов. Все еще можно было, не задумываясь, пить шотландское виски, лучшие французские коньяки и к только что выловленным из моря омарам подавать рейнские вина, наслаждаться в жару ананасами и охлажденным апельсиновым соком.

Октябрьский ветер рвал парусиновый тент пляжного павильона, за которым некому было присмотреть — не хватало расторопной прислуги, как по волшебству угадывающей и устраняющей все неполадки. Ветер раскачивал дверную металлическую сетку, засыпал пе-

ском крыльцо. На неухоженных газонах валялись опавшие листья, сухие ветки, водоросли. А дом по-прежнему стоял. Но кому нужен дом на побережье, если он уже не служит убежищем от бесчисленного множества людей: шумных, веселых, загорающих на солнце, которые громко переговариваются, бросают повсюду бумажки и остатки еды или же мнут заросли винограда, всем своим видом и даже одним только своим присутствием вызывая непреодолимое желание бежать куда глаза глядят?..

Да, дом на берегу уже не мог служить убежищем. С тех пор как началось массовое бегство из страны, нельзя было плавать на «Авроре». (Какая ирония судьбы, дорогая тетя, — яхта, названная в твою честь, свидетельница нашего разорения!) Бары и рестораны тоже не спасали, как и множество других мест, созданных для беспечной жизни, для веселого времяпрепровождения среди приятных, образованных людей, которые любили противопоставлять разрушительный романтизм Шёнберга¹ земному миру Вилла-Лобоса², макая ломтики бисквита в шоколад, или же, склонив голову в почтительном приветствии, тихо позлословить на чей-нибудь счет, вызвав вежливую улыбку собеседника. Наслаждаясь приятной обстановкой и полумраком фешенебельных ресторанов, он смотрел на раскинувшуюся перед ним Гавану и не подозревал, что ей суждено пережить потрясение, от которого ни спастись, ни убежать...

Явился Исидоро сообщить, что шины у «мерседеса» стерлись и дыры на крышках надо заклеить, а в продаже нет резинового клея. Исабель сразу же угадала на его лице едва заметную улыбку, плохо скрытое ехидство, желание досадить. («Этого человека необходимо как можно скорее расчитать, Хорхе Луис. До сих пор не могу смириться с уходом Исраэля...») Потом явилась тетушка Пурита, как всегда с неприятной новостью. У нее еще больше развилась способность предсказывать новые удары судьбы. Своим удивительным нюхом она сразу чуяла угрозу. И то, что сначала выра-

¹ Шёнберг, Арнольд (1874—1951) — крупнейший австрийский композитор, представитель экспрессионизма.

² Вилла-Лобос, Эйтор (1887—1959) — выдающийся бразильский композитор.

жалось в коротком замечании, со временем зазвучало сигналом тревоги, мощным ударом набата, страшным предзнаменованием.

Хорхе Луис никогда не вмешивался в хозяйственные дела. Но однажды оливковое масло, пролитое в мойку, засорило сточную трубу. Старая тетка изо всех сил старалась поддержать своими дрожащими, услужливыми руками священный огонь их домашнего очага. Потом вышел из строя автомобиль, кончились консервы и возникло множество мелких затруднений, которые либо смягчают нас, либо делают совершенно нетерпимыми тогда, когда мы уже не можем положиться только на себя и нуждаемся в других людях.

В те минуты, когда он, Хорхе Луис, сидя за роялем на «чердаке», не замечал времени, Исабель чувствовала себя особенно одинокой. Она все больше ощущала свою зависимость от вещей и предметов, которые прежде никогда не умела ценить. Она вдруг поняла, что все ее существование вращалось вокруг этих благ, которые ее научили презирать. И это умаляло ее в собственных глазах. Но с другой стороны, не научись она уважать то, что так ценил он, Хорхе Луис, кто знает, как бы сложилась ее судьба?

Тогда до него стал доходить смысл слов Роберто. Не раз он пытался представить себе выражение его лица, но оно навсегда ушло из памяти, хотя слова, сказанные им с горьким раздражением, даже немного презрительно, никогда не звучали так явственно. Да, жизнь устремляется к будущему. В ту минуту, когда под рукой не оказывается слуги, который бы подал тебе джинс с лимонадом и льдом, приходится усомниться в основах социального порядка. Разве этого недостаточно, чтобы с криком ужаса просыпаться каждое утро?

Как могло случиться, что этот катаклизм разразился у них под самым носом? Как произошло, что его не смогли предвидеть даже самые прозорливые, самые проницательные? Те, кто произносил высокопарные речи, кто все высмеивал, кто ни разу не усомнился в будущем, кто всегда знал, за какого кандидата голосовать, кто чуял опасность за сто миль и советовал, как лучшее средство в смутные времена, путешествие по Северной Америке или Старому Свету. Как они не сумели предвидеть этого краха, этой гибели, этого пораже-

ния, которое не только нас разорило, разъединило, но и поставило вдруг перед лицом сурового и незнакомого мира?

Но ни кольцо, которое день ото дня все уже сжималось вокруг него (бесконечные жалобы, вздохи, стоны, не всегда искренние, которые чуткий слух тетюшки Пуриты всегда готов был уловить); ни постоянные утраты, ежедневные разлуки, еще больше усугублявшие его одиночество и бессмысленность сопротивления, когда все вокруг предвещает неминуемую катастрофу; ни грозная стена, воздвигнутая перед ним этим неистовым человеком, едва он появился на площади и заговорил сначала приглушенным, срывающимся голосом, который потом стал крепнуть, набирать силу и полился, как полноводная река, — ничто не могло сломить твердое решение Хорхе Луиса, его самоубийственное упорство, которое никто не пожелал с ним разделить. Оно было таким же неподдельным, как и волнение, светившееся в его глазах, когда он, целуя Исабель в плечо, пытался прочесть ее мысли; или бледность, покрывшая его лицо, когда Исабель после насмешливых слов Роберто, до сих пор звучавших в его ушах, повернула к нему голову и с натянутой улыбкой произнесла: «Ничего, дорогой, ничего...»

«И этому грозному миру ты, Хорхе Луис, хочешь противопоставить свой бред, свою безумную решимость, свое нелепое стремление смешать себя с прахом? Ты считаешь свой аристократизм крепостью и веришь, будто создан для того, чтобы с гордым высокомерием принимать обрушившиеся на тебя удары, даже если они повергнут тебя в прах, превратят в далекий отзвук истории. А я, Хорхе Луис? Что станет со мной? С каждым днем ты все больше и больше отдаляешься от меня. Я теряю тебя, едва узнаю. Мы остались совсем одни. И это было неизбежно. Час от часу расстояние между нами увеличивается, хотя мы не делаем для этого и шагу. Очень горько, Хорхе Луис, но я не знаю, долго ли еще смогу этому сопротивляться...»

Он уже привык видеть ее заплаканные глаза. Вернее, угадывать легкую красноту век, едва ли заметную для тех, кто не знал ее так, как он, и кто давал обма-

путь себя холодным примочкам, которыми пытались скрыть очевидное.

Ее нервы напряглись до предела. Появления тетушки Пуриты было достаточно, чтобы вывести ее из равновесия. Хорхе Луис видел, как с каждым днем она все больше впадает в отчаяние. Пробормотав слова извинения, она оставляла их в зале, а сама поднималась на «чердак» и там, глядя на море, играла на рояле, чтобы прекрасными звуками заглушить зловещие новости, которые старая сеньора сообщала с таким усердием.

Ее пальцы уже не могли держать сигарету, как прежде — без всякого вызова, но с утонченным кокетством. Она старела на глазах. Руки ее нервно дрожали. «Слишком много курит, а может быть, злоупотребляет успокоительными средствами, которые уже не помогают!» Безразличное, почти презрительное выражение ее губ сменила гримаса затравленности, вечного страха.

Она нервно раздавила окурок в пепельнице и выпустила дым сквозь сжатые губы, словно цедила слова.

Хорхе Луис взглянул на легкую синеву у ее глаз и с прискорбием подумал о том, что ему придется выслушать слова упрека из уст любимой женщины. Он попытался успокоиться, мысленно утешая себя тем, что обязан сказать ей всю правду.

— Начнем продавать мебель...

Больше он не слышал звона колоколов, не видел цветущей весны, а лишь заострившийся нос и покрасневшие глаза, непривычные, чужие, в которых застыло отчаяние, царившее повсюду.

Хорхе Луис впился ногтями в атлас софы. «Какое у нее измученное, осунувшееся лицо. И голос стал резкий. А прежде был такой мелодичный...» Теперь этот голос сорвался на визг:

— Разве мы так низко пали?

Неужели это ее лицо — осунувшееся, нервное, в морщинках? Неужели это на ее лебединой шее, которой могла бы позавидовать сама Павлова, вздулись жилы? Неужели это ее рот, прежде выражавший в точно отмеренных дозах высокомерие и испуг, сострадание и оскорбленное достоинство, кривится теперь в горькой, неуверенной усмешке?

— Тебе следует позаботиться о своем здоровье... — ответил он.

Но она настаивала. На сей раз ее крик был особенно пронзительным. Она требовала, чтобы он пошел на уступку, солгал, дал хоть какую-нибудь надежду, что задержит — пусть ненадолго — всеобщую гибель, что не даст им, хотя бы на этот раз, быть уничтоженными.

— Ты не умел и не умеешь смотреть правде в глаза. Ты можешь лишь пользоваться тем, что судьба подарила тебе, но не способен ничего завоевать сам, своими руками. Ты утешаешь себя мыслью, что умрешь на останках своих предков!

Он не спеша зажег сигарету.

— Тебе следует позаботиться о своем здоровье, дорогая, — повторил он. — У тебя слишком расшатались нервы. И выглядишь ты неважно...

— Долгие годы я верила в тебя, слепо следовала за тобой. Но ты обманул меня. Твой аристократизм — это полная неспособность действовать. Я знаю, ты умрешь, раздавленный этими камнями, которые уже никому, даже тебе, не нужны. А я? До сих пор я шла у тебя на поводу, верила в твой бред. Да, ты прав, мои нервы слишком расшатались. Я на грани помешательства. Но с этой минуты мне неважно, что ты смотришь на меня свысока, снисходишь до меня, сочувствуешь мне, с этой минуты все будет иначе. Больше того — все будет кончено. И не проси меня остаться с тобой. Дай мне по крайней мере самой решить, как мне умереть.

— Прими эти таблетки, дорогая. Они успокоят тебя...

Всегда существуют невидимые руки, с лихорадочным упорством громоздящие камень на камень, разрушающие древесину, но, если к ним еще добавляется алчность испепеляющей молнии, неистовство ветра, который срывает балки, расшвыривает песок, коварная капля воды, пыль, носящаяся в лучах солнца, губительное семя разрушения, уже пустившее повсюду свои ростки, — эти руки становятся рукой судьбы, которая стучится в податливые двери.

Настало время рассчитать садовника. Того самого садовника, который однажды, почтительно сняв сомбреро, вошел в дом, когда он, Хорхе Луис — пока еще

сверток из голубого крепа, одеяла того же цвета и вышитых пеленок, — лежал в своей колыбели, обшитой тафтой, оплетенной лентами, чтобы отдать матери, только что родившей его на свет, благоухающие розы, срезанные в саду. А потом, все так же почтительно держа сомбреро в руках, удалился, провожаемый улыбкой и нежным голосом, созданным для любви и сладких тайн. Невыносимо тяжело было расстаться с человеком, который обрек себя на полувековое заточение в мире, отгороженном высокой железной решеткой, сказать, не смея посмотреть ему в глаза и все же открыв для себя впервые суровые черты его лица и отчужденный, словно далекий взгляд:

— Я разорен, Эдуардо...

Невыносимо тяжело вырвать дерево, пустившее глубокие корни перед твоим окном, но надо это сделать. Сад без Эдуардо пришел в запустение. Поначалу это было совсем незаметно, будто его руки все еще заботливо ощупывали каждое растение, выискивая болезнь, чтобы вовремя прийти на помощь. Но после весенних дождей природа словно обезумела. Сорная трава необузданно разрасталась, точно этот сад вдруг впервые поддался настоятельным требованиям жизни. Ветки вытянулись дальше чем положено. Стебли, выйдя из-под контроля, пускали тысячи новых ростков. Цветы раскидывались, переплетались, образуя непроходимые заросли. После ливней, дождей и сырости сад, казалось, отступил перед неожиданным натиском сорных трав, которые с первой же попытки одержали победу. Газоны изнемогали под напором чертополоха, петунии, портулака. Алчный, бездумный выюнок задушил красоту бегоний, тропические цветы, погасил их последние яркие вспышки, безжалостно расправившись с ними.

Это было начало вечности. Растительный мир поглощал всякое напоминание о духовном, превращал высокие утесы в песок.

Он снова закрыл глаза, желая вместо своего разрушенного царства увидеть его далекий и дорогой образ. Газоны прятались за пышной листвой, клумбы полыхали от ярких цветов. В дверных и оконных проемах, защищенные железными решетками, стояли горшки с гвоздикой и развесистым креольским папоротником, самым необузданным на свете.

От садовой калитки дорожка, выложенная каталонской мозаикой, вела к массивной двери красного дерева, распахнутой настежь. За ней стоял слуга, принимая поклоны и шляпы и отвечая той невнятной скороговоркой, которая не слишком походит на приветствие, но и не означает безразличия. Отсюда поднималась широкая лестница, освещенная бронзовыми лампами, с бронзовой же балюстрадой, отделанной старым деревом. Алый ковер покрывал белый мрамор, спокойный и величественный, слишком величественный для тех фамильярных приветствий, которые обычно завершались обращением «старина», небрежным похлопыванием по плечу или какой-нибудь шуткой, которую чаще всего он не слышал и все же отвечал вежливой улыбкой, поднимаясь по лестнице, роскошной, широкой — другая не соответствовала бы его роду. Потолок, украшенный тонкой росписью маслом — «такая продержится вечно», — со стропилами из столетнего кедра, казался выше, чем был на самом деле, от обилия света, падавшего на него от люстры в форме канделябров стиля ампир, привезенной в двадцати ящиках из какой-то европейской страны — одной из тех монархий, о коих так много говорилось прежде, а теперь никто не вспоминает, — довольно приятным господином, хотя и несколько мрачноватым на вид, имевшим обыкновение восклицать по-итальянски: «Non è più bella cosa al mondo, signora?»¹ — когда к нему обращались по-французски. Оставив позади себя лестницу, аромат цветов, доносившийся из сада через распахнутые окна, прохладный вестибюль с золочеными зеркалами, в которые дамы бросали внимательный взгляд, вытягивая шеи и проводя кончиками пальцев по горлу, пока мужья поправляли галстуки, глядя в зеркало поверх их плеч; оставив позади себя услужливых горничных и слугу в превосходной ливрее, отрянувшего пылинки с их фраков, уличный шум и мягкий шорох шагов по нескончаемому коверу, они достигали наконец ее изящно протянутой, белоснежной руки и почтительно склонялись перед снисходительной улыбкой, такой элегантной, такой «in the mood», такой «chic», такой «in spleen»², в которой сочетались беско-

¹ Не правда ли, это самая красивая вещь в мире, синьора?

² С настроением (англ.), шикарной (франц.), томной (англ.).

нечная усталость от жизни и непоколебимая вера в то, что жить стоит, что жизнь прекрасна. Узкие хрупкие плечи выглядели почти детскими в глубоком вырезе черного платья без всяких украшений, однако ее лицо поражало твердостью и силой, которая обескураживала тех, кто не знал ее так, как он.

— Сила твоя, как у Самсона, заключена в волосах. В волосах и в носе...

Ее нос не казался ни горделивым, ни высокомерным, но был словно полярной звездой этого всегда подвижного, всегда настороженного лица. Беспокойная любопытная головка будто повиновалась его тайным приказаниям. Хорхе Луису достаточно было взглянуть на ее лицо, уловить трепет ее поздрей, ритм ее дыхания, и он сразу знал, что таится за ее спокойным взглядом, за ее обворожительной, неповторимой улыбкой, едва открывающей зубы и никогда не превращавшейся в напряженную гримасу.

— У тебя странно сочетаются нос суффражистки и волосы античной матроны. Смесь Форнарипы и... рекламы кока-колы...

Он с улыбкой наблюдал, как гость подносит к губам кончики ее пальцев, с виду совершенно невесомых, и шепчет:

— Исабель, я не знаю, в чем секрет твоего обаяния, не скажу, что ты самая красивая женщина в мире, но, поверь мне, старому пьянице: самая очаровательная...

Он переводил взгляд на ее победоносный профиль, на ее черные волосы, изящно подобранные кверху, отчего лебединая шея, которой могла бы позавидовать сама Павлова, казалась еще длинней.

Проводив последнего гостя, они стояли на галерее, увитой бугенвилеями. Он приподнял за подбородок это необыкновенно прекрасное лицо и поцеловал, почувствовав, как дрогнули пальцы Исабели в его руке.

— Гравалоса права, ты душа этого дома.

— Меня поразили ее слова: «Ты явилась на свет, когда этот дом уже стоял. Но именно тебя ему не хватало. Может быть, в этом заключена твоя тайна, Исабель?»

Он отвел взгляд от ее волос, подобранных кверху с изяществом и изысканностью, напоминавшими об иных временах, иных знатных фамилиях. Да, Гравалоса, ко-

торой уже тоже нет, была права, когда говорила, прищурив свои пронизательные глаза: «Если когда-нибудь ты покинешь этот дом, Исабель, он придет в упадок. Ты его фундамент и ты воздух, который проникает в него через окна...»

Они остановили своих коней у конца дороги. Вдоль края обрыва возвышались вершушки сосен. Внизу до самой прибрежной черты простирались плантации, в зелени которых блестели ручьи, виднелись красные пятна негритянских хижин.

— Все это принадлежит тебе.

Казалось, она не заметила гордости, с какой были произнесены эти слова, и, слегка удивленная, смотрела на его обветренное, загорелое лицо, на облака, нависшие над голубыми холмами, на бесконечную зелень сахарного тростника, раскинувшуюся до самого моря.

— Я хочу, чтобы ты каждый год привозил меня сюда...

В ответ он только пожал ей руку, не в силах оторвать глаз от долины и вкладывая в это рукопожатие чувства, которые не мог выразить словами. А она не понимала, почему он так пристально смотрит вдаль, почему этот мужественный человек, привыкший преодолевать любые трудности, теряется в ее присутствии, повторяет одну и ту же фразу: «Все это принадлежит тебе» — и пожимает ей руку, словно желая выразить этим жестом больше, чем словами, которые произносят его губы, выразить то, что носит глубоко в сердце, что зрело в нем, словно семя в благодатной почве, дожидаясь минуты, когда сможет вырваться наружу, открыться, найти форму, которая бы яснее слов говорила о том, что он чувствует и о чем она не догадывалась до сих пор, но догадается сейчас, ощутив крепкое рукопожатие, тайный знак его грубых сильных пальцев, не способных овладеть каллиграфией, чтобы поведать о чувствах на том языке, на котором она привыкла изъясняться с детства, как привыкла к дорогим шелкам, муару, к гобеленам с изображением сцен из сельской жизни, не имеющим ничего общего с подлинной сельской жизнью, которую никто так не знал, как он, на изысканном языке званых вечеров, который никак не вяжется с грубой неотесанностью этих пальцев, сжи-

мающих ее руку так крепко, что она вынуждена заплакать, ибо не может понять, что тот, кто сейчас рядом с ней, любит ее такой любовью, которая неизмеримо выше слов, убеждений, обычаев и может быть выражена лишь на вечном, непреходящем языке, не может понять, что то, что происходит сейчас, в эту минуту, не зависит от чьей-то воли, что даже он не властен над событиями; но его пальцы все крепче сжимают ее руку, его голос бессмысленно повторяет одну и ту же фразу, и вот слезы счастья наполняют ее глаза, она содрогается от рыданий, не смея принять этот щедрый дар — плод жизни, полной лишений.

Все эти земли принадлежали им. Потом к ним присоединились новые земли, новые леса, новые плантации, реки, горы, хребты, которые обдувал сильный ветер или убаюкивал легкий бриз, новые ранчо, где пели негры, работавшие на уборке сахарного тростника, ржали лошади и мычали многочисленные стада, где жгло солнце и среди зеленых роц висели гамаки, где были тщательно проложены межи, тропы, где гнетущую жару Антильских островов смягчали заботливые служанки — одна махала плетеным веером, другая подавала холодный лимонад, третья отгоняла прожорливую мошкарку, где множество слуг всячески старались облегчить суровую, уединенную жизнь хозяев.

Зато по вечерам приходило вознаграждение. С наступлением сумерек с моря дул прохладный ветерок. Высоко в небе светили яркие звезды. Сидя в креслах-качалках, он и она обсуждали новости, решали хозяйственные дела или же говорили о предстоящих работах.

В тот раз, сидя на балюстраде, погруженный в свои мысли, он курил табак собственного урожая. Она делала вид, будто вяжет, украдкой поглядывая на него. Наконец она прервала молчание:

— Я должна тебе кое-что сказать...

Сколько раз пытался он по ее улыбке отгадать, о чем она хочет сообщить, но никогда это не удавалось. А она, принимаясь за вязание, словно ей дорога была каждая минута, произнесла:

— У меня будет ребенок.

Но, как и на том гобелене, который висел в столовой (палящее солнце, одного цвета с песком, оазис в глу-

бине и бедуин на верблюде, устремившийся к желанному отдыху), тяжёлый переход через этот всеми покинутый мир, через эту пустыню, бывшую когда-то сверкающим оазисом, через эти руины, эти заброшенные развалины. Тяжело идти по дорожке без плиток, привезённых когда-то из Каталонии, долгожданных, тщательно отобранных по одной, отсортированных, чтобы именно ему, а не кому-нибудь другому суждено было увидеть, как их свалили в кучу, а потом погрузили на машину люди, которые смеялись своим грубым шуткам и которым было наплевать на его горе. Бывшие батраки теперь даже не удостаивали его разговором: ведь не им грозил упадок, позорный конец династии. А ещё раньше именно ему, а не кому-нибудь другому суждено было услышать, как Мария, его добрая ключница, сбывая понемногу все что можно, произносила «продано», и это обжигало его, словно кипятком. Трудно переступить пустой порог, где уже нет массивной двери красного дерева, которую распахивал Амбросио — его тоже нет — своим особым жестом, продуманным, почтительным и вместе с тем радушным, нет бронзового молотка в виде огромной лапы, сжимающей в своих когтях большой шар, которым он ещё мальчиком столько раз колот на пасху тайком взятые из кладовой грецкие и лесные орехи на глазах Амбросио, всегда почтительно-сдержанного, того самого Амбросио, который долгие годы принимал поклоны и шляпы гостей, невнятно произнося что-то сквозь зубы и не выпуская начищенной ручки двери из красного дерева — её тоже небрежно взвалили на грузовик чужие, не слишком заботливые руки. Та же участь постигла и дверную раму из твердого векового сабику (это дерево обжаривают, как мясо на огне, а сверла для работы с ним надо смазать маслом и накалить добела). Среди других сортов дерева сабику выделяется своей долговечностью. Дверь сорвали после того, как добрая Мария со слезами на глазах, пожелая быть сильной в эту ответственную минуту, желая покончить все скорее и боясь продешевить, произнесла «продано» — слово, которого, на этот раз он, к счастью, не слышал, но которое все же было произнесено, потому что шла распродажа, рушился фундамент этого дома, этого очага, этого храма, по мере того как она своим тихим приятным голосом произносила последний при-

говор — «продано», и от этого заклинания вылетали стекла из оконных рам, в пустые проемы дул ветер, заползал ненасытный вьюнок, разрушалась мозаика на галерее, той самой галерее, где он когда-то признался в любви Исабели, а она поклялась ему в верности навек, чтобы вместе пройти тот путь, которому суждено было кончиться здесь же, на этой галерее, но уже без мозаики, хотя еще со стропилами из крепкого дерева, желтой, высохшей хохомы и аканы, сдерживающей воду в ненастье, и с ароматными цветами. В тот вечер она казалась спокойнее обычного, возможно, потому, что утром приняла слишком много таблеток, а может, потому, что твердое решение расстаться с ним и начать новую жизнь придавало ей уверенности, хотя, возможно, их горячие споры и слова, сказанные им в порыве откровенности, открыли ей новый облик его, Хорхе Луиса, более реальный, более соответствующий тому тяжелому времени, которое оба переживали. Охваченная решимостью, она попыталась навсегда зачеркнуть прошлое, сказать то, что давно вынашивала, здесь, на этой галерее, пока у нее еще хватало сил владеть собой и сопротивляться потоку воспоминаний о счастливом прошлом, о тех днях, когда их дом блистал, а не был этими развалинами, откуда теперь ей приходилось бежать, — «ты его фундамент и ты его воздух». Вот почему именно здесь, на этой галерее, она сообщила ему то, о чем он уже догадывался и что готов был выслушать, не дрогнув ни единым мускулом лица, чтобы ее потом не мучила совесть за те жестокие слова, которые она произнесла своим спокойным голосом: «Завтра я ухожу».

А может, и лучше, что она уходит? Разве имел он право заставить ее и дальше нести этот мученический крест, проделать этот тяжелый путь, чтобы достичь комнаты на верхнем этаже, этой земли обетованной, оазиса, этого конца пути, единственно возможной цели?

Сначала продали обстановку. Еще можно было найти покупателей, желающих приобрести мебель, привезенную издалека. Она сама запирала двери опустевших комнат, куда уже не приходили гости. Но по-прежнему приходили равнодушные люди и увозили антикварные вещи: зеркала, в которых отражались счастливые об-

разы славных времен, кресла, софы, кровати, где отдыхали, устав после долгих путешествий, после вечеров, проведенных в обществе самых близких друзей, стулья, столы, за которыми сидели самые именитые гости, бра, канделябры, при свете которых велись самые блестящие беседы, столовое серебро, сервизы, серебряные подносы, на которых подавались самые изысканные яства, ширмы, безделушки, картины, украшения, ковры, а еще раньше — автомобили, телевизоры. Одним словом, все, что дарит столько наслаждения во время отдыха.

Одна за другой запирались двери комнат, но Мария — все еще ходившая в фартуке и с ключами — по-прежнему раз в неделю распахивала настежь двери и окна, чтобы проветрить опустевшие помещения, высушить сырость, которая пятнами проступала на стенах. Однако уже воцарялась могильная тишина, в которой гулко отдавался скрип окопных и дверных петель, эхом проносясь из комнаты в комнату, из пространства в пространство, как и его приглушенные шаги; от оголенных, покинутых комнат веяло беспредельным покоем одиночества...

Как-то раз, распахнув окно в заброшенный сад, выросший наглой ежевикой, он впервые не обнаружил старинных решеток: в пустом оконном проеме, не прикрытом кованым железом и выющейся листвой, утро казалось более ясным, ветер, дующий с моря, более сильным, а тучи, несущие грозу, более отчетливыми.

Вслед за решетками, окопными и дверными рамами исчезли мраморные статуи. С тех пор ему стало тяжело выходить из своего убежища. До позднего вечера слышались звуки рояля, который разделял его одиночество, не считая верной Марии, пока и с ней не пришлось расстаться. Только эта часть дома была освещена, и в ней еще теплилась жизнь.

Остальная, всеми покинутая, погрузилась в тишину. Он с трудом заставлял себя пройти по пустынным коридорам, по лестницам, лишенным роскошного убранства, и, только распахнув дверь и оказавшись у себя на «чердаке», снова возвращался к жизни. Перед ним был и рояль, и окно, выходящее на Мексиканский залив. Посреди комнаты стояли стол орехового дерева и стулья с резьбой на высоких спинках. А со стен портреты

близких печально смотрели на цветы в больших вазах французского фарфора, богемский хрусталь, стекло с острова Мурано, инкрустированный столик, бухарский ковер, купленный на базаре старого Дели. В этой комнате он поместил самые изысканные вещи, тщательно отобрав то, что было связано с его прошлым, с его воспоминаниями — единственное, ради чего еще стоило жить.

Правда, еще оставалась Мария, молчаливо и заботливо помогавшая ему переживать поражение и, несмотря на свои года, проворно прислуживающая за столом по всем строгим правилам этикета.

— Наш Робинзон нашел верного Пятницу... — заметил как-то Леонсио.

Хорхе Луис украдкой глянул на Марию. Но она, если бы даже и не подавала гостю в ту минуту поднос с нарезанными фруктами, все равно не поняла бы намека. Не спуская глаз с Марии, он сказал:

— Мария и я лишь еще два предмета обстановки в этом доме.

Она склонила голову в знак благодарности.

Пить кофе перешли на террасу, выходящую в сад — теперь совершенно темный, — единственное место в доме, куда не проникали назойливые огни с улицы.

В тот вечер он вновь блистал остроумием, доставляя наслаждение гостям, которые умели ценить интересную беседу и собирались только ради нее. Их смех и раскатистый хохот Нестора еще больше вдохновляли Хорхе Луиса.

К сожалению, теперь он утратил этот дар.

— Ты полагаешь, что они сумеют создать нового человека?

Голос Юдифи нельзя было спутать ни с чьим другим. К тому же он знал и эту ее удивительную способность вставить свое слово в самый неподходящий момент.

Наступила неловкая пауза. В другое время он бы перевел свой взгляд на Исабель и обязательно встретил улыбку, которой она его поддерживала и призывала не переходить границ. Но теперь с места, где должна была сидеть она, на него смотрели невыразительные глаза Нестора, который бесцеремонно заявил:

— Во всяком случае они уничтожат старого.

Когда Мария подавала коньяк и кремы, Эрнестина встала из-за стола и отошла к перилам.

— Не знаю, как можно острить на этот счет,— с упреком произнесла она.

На террасе прозвучал громкий голос Нестора:

— Видишь ли, Леонсио, с тем, что у меня еще осталось, и ежегодной рентой, которую у меня не отняли (я не Луис и не собираюсь ни от чего отказываться), я могу жить вполне прилично и вряд ли сумею получить где-нибудь больше. Я предприниматель и расцениваю ситуацию со своей точки зрения.

Эрнестина, едва сдерживая раздражение, молчала, глядя на затененный сад, потом на плоские крыши, наконец она не выдержала:

— Возможно, я слишком чувствительна или ты просто не понимаешь, что происходит в этой стране.

Нестор на какой-то миг растерялся, но, по-прежнему презрительно улыбаясь, ответил:

— Что касается первого, не сомневаюсь; что же касается второго, позволь с тобой не согласиться.

— Это крем испортил вам настроение. Давайте выпьем коньяку, от него станет веселей,— вмешался Хорхе Луис, жестом подзывая Марию.

Он подвинул им рюмки и выпил вместе с ними. Извинившись, Эрнестина отошла к Леонсио.

— Нестор слишком груб,— сказала она,— и слишком бестактен по отношению к бедному Хорхе Луису.

Однако сам он, Хорхе Луис, этого не считал. Напротив, и Нестор, и все они проявляли такт, взбираясь на эту гору обломков, ступая по голому камню, с риском свалиться в бездну поднимаясь по лестницам без перил при неверном свете одинокой лампочки, которую раскачивал ветер. Он хотел сохранить этот путь, эту тропу от крепкой железной двери до «чердака». Но с этой мыслью скоро пришлось расстаться. И комната наверху оказалась изолированной от всего мира, словно дрейфующий островок, который только в такие минуты, как эта, принимал потерпевших кораблекрушение, вновь озаряясь тусклым блеском мимолетной победы.

— Твой дом по-прежнему самый гостеприимный во всей Гаване, Хорхе Луис.

— Я всего-навсего жалкая улитка, Эрнестина, не забывай этого...

Эрнестина поцеловала его на прощанье, и он, стоя в дверях, смотрел, как гости спускаются по лестнице, видел их длинные тени, поникшие, скорбные, слышал приглушенный гул их голосов, настороженных, полных страха. Он прислонился к двери.

«Только Бах, один только Бах, каждый час, каждую минуту!..»

Он сел за рояль и принялся играть. Закрывать глаза значило оборвать последнюю связь с окружающим миром: с домом, который ограничен для него теперь «чердаком»; с друзьями, разбросанными по всему свету или еще оставшимися здесь; с нею, с Исабелью, несравненной, незабываемой; и особенно с этими неистовыми криками, которые, подобно воинственному кличу, потрясают улицы, площади, людей, деревья до самых корней...

Но как только он закрывал глаза, он видел слабый румянец материнского лица, ее прекрасный взгляд и улыбку, с которой она словно ждала какого-то чуда; ощущал ласковое прикосновение ее рук, видел, как она задумчиво погружает пальцы в локоны на висках, слышал ее печальный мелодичный голос, созданный для любви и сладких тайн. Невозможно представить, что эти руки, этот голос и эта нежность канут в Лету, что эти воспоминания сотрет безжалостное время, которое ничего, ровным счетом ничего не прибавит к главному, как невозможно представить, что время не может остановиться для одного человека, иначе как тогда противиться ему, если оно никому не подвластно, если оно способно к самоуничтожению и по прошествии какого-то мгновения возрождается вновь, если оно исчезает с наслаждением, обрекая себя на гибель при самом рождении, и с непонятной страстью стирает границы между наступающим мгновением и собственной гибелью? Как противостоять, если человек не способен своими силами сдержать это разрушение, спасти от несчастья хотя бы бесконечно малую частицу, собирая по крохам эти беспорядочные, несообразные обломки — грусть и радость, ужас и безразличие, — образующие тем не менее новое единство: неповторимое дыхание, воспоминания, возможно печальные, но вместе с тем спасительные?

Вот почему, с закрытыми глазами или открытыми, стоя у окна или скользя пальцами по клавишам рояля, как сейчас, невозможно заглушить звук этого голоса. Можно сидеть не поворачивая головы, прикрыв глаза при свете бледной луны, когда дует морской ветерок и, врываясь, колышет занавеси. Можно касаться клавиш, чтобы музыка наполнила это таинственное пространство и в полумраке родились звуки, доселе не слышанные, которые плавно поднимают тебя ввысь. Но нельзя повернуть голову и не увидеть ее. Стоит оглянуться — и сразу же возникает эта сияющая улыбка, с которой она словно ожидала какого-то чуда, этот рот, созданный для сладких тайн. И снова, как двадцать, тридцать, тысячу лет назад, звучит ее звонкий, мелодичный, не омраченный печалью голос, неизменный во времени и пространстве, вечный:

— Каждый камень этого дома, сын, — частица твоего отца. Он многое мог. Но этот дом...

И действительно, этот дом возник из ничего.

Туманным октябрьским днем они сели в экипаж и поехали за город. Миновав несколько вилл с обширными рощами, они наконец остановились у поворота, откуда открывался вид на море, волнующееся, серое. Он поднял руку и решительным движением обвел простиравшиеся перед ним земли, поросшие сосной, гуайявой, сейбой, ему уже не терпелось обуздать эту буйную природу: тут выровнять холм, там сделать насыпь, добавить перегноя, воздвигнуть стены, покрытые опалубкой, прорыть каналы, нарушить бесформенность глины и камня, придать смысл песку и воде. Рука поднялась, чтобы показать: вот здесь будет стена, там изразцы с арабесками, здесь тоже стена... И сотни сильных рук стали носить необходимые материалы, архитекторы развернули свои чертежи, инженеры обнаружили свои обширные познания, мастера отдавали необходимые распоряжения, каменщики работали до самого захода солнца, а плотники и столяры придавали нужную форму деревьям, которые привозили с вершин самых высоких гор: кедр, красное дерево, сабику, хокума, кебрачо. Эти деревья прочнее камня, потому что набирали силу многие столетия. Краснодеревщики готовили смолу, лаки. За-

тем прибыли специалисты по обработке мрамора. Раздавались удары по резцу — короткие, точные; пели сверла, шла в ход пемза, кислота, опилки, и вот прочно врыта колонна, а на ее капители навечно замерли уже неподвластные ветру листья аканта.

И много лет спустя после того, как рука обведет это пространство и каждая вещь займет свое место, после того как воздух будет вытеснен камнем, а солнечные лучи сменятся полумраком затемненных коридоров, тamarinдовыми деревьями и пальмами, этот голос, этот неповторимый голос, сначала дрожащий от волнения, потом глухой и наконец жалобный, но всегда ласкающий слух, будет повторять ему, пока он дышит:

— Здесь каждый камень, сын, — частица твоего отца...

Маленьким мальчиком с локонами, спадающими на глаза, спрятав лицо в материнских коленях, и уже без локонов, но еще в коротеньких штанишках из красного бархата, и много позже, когда исчез светлый пушок над его верхней губой, а гордый нос — суровое наследие отца — уже говорил о его зрелости, он слышал этот мелодичный голос и старался угадать, какой же из этих камней, этих кусков мрамора, этих триглифов, какая из этих капителей, какой фриз, какой тимпан так горестно преобразили мужественные черты этого волевого лица, на котором надменность и замкнутость сменялись тихой улыбкой; старался угадать, что же именно разрушило здоровье отца, подорвало его сердце, заставило побледнеть его лицо, ввалило щеки, согнуло спину, ибо, помня о материнском заклинании, каждое окно, через которое врывался свежий утренний ветерок, каждую пядь полированного дерева он связывал с немощами этого огромного, крепкого тела; и в детстве, и в юности — всегда отец был для него неотрывен от своего творения: в контрастах между светом и тенью галерей и гостиных ему чудилась смена отцовских настроений; его память создала перасторжимое единство человека с камнем.

— Здесь прошла лучшая часть его жизни. День и ночь он следил за работой. Стоило ему заметить какой-нибудь изъян в материале, и он отправлял груз, откуда бы его ни привезли. Он хотел, чтобы его создание было достойно того идеала, который он видел во мне...

Теперь голос звучит жалобно — ибо и юность уже стала далеким сном, но все еще напоминает о любви и величии и все еще повторяет его усталым ушам эту историю, потому что для нее он, Хорхе Луис, так никогда и не станет взрослым мужчиной, а останется маленьким мальчиком с золотыми локонами, спадающими на глаза. Но не этот печальный и угасший голос, другой — певучий — нашептывает ему новую историю, новую тайну: о том, какой путь избрал отец, чтобы сделать ее жизнь безоблачной (он не перенес бы презрительных улыбок, может быть, даже не презрительных, а лишь многозначительных, откровенных, слишком понятных, не для него, неспособного воспринимать двусмысленные намеки и улыбки, но для нее, привыкшей оценивать слова по интонации, а не по смыслу). Он не хотел, чтобы она краснела за него или тосковала по жизни в ранчо, покинув спокойное уединение большого дома, где стараниями отца на столе всегда были пшеничный хлеб, вкусная еда и прозрачное вино, где строгие нравы все же допускали свободу, без которой нельзя дышать.

— ...И тогда он сказал мне: «В нашем доме будет собрано все самое ценное. И останется там, пока камень лежит на камне». И он сдержал свое слово. Но разве с тех пор у нас была хоть минута покоя?

Да, в былые времена в эти часы телефон звонил не переставая. И как ни старался предупредительный Амбросио оградить его от ненужных звонков, невозможно было уйти от всех дел, от всех приглашений, которые мешали ему разучивать Шопена. Сколько раз его обуревало яростное желание укрыться от надоевшего светского общества за своим роялем, чтобы никто не похлопывал его фамильярно по плечу, не жал ему руку, не улыбался, не звал на коктейли, и все же приходилось прерывать занятия музыкой и идти целовать руку какой-то бесцветной, чванливой и пошлой сеньоре!

Шопен, Шуман, Лист — самое лучшее общество. Шопен за завтраком: ломтики ветчины, земляничное варенье — «Прелюдия»; хлеб со сливочным маслом — «Экспромт»; сок грейпфрута — «Вальс»; черный кофе раз в день для поднятия тонуса — «Полонез». Лист и

Прокофьев за коктейлями; Шуман и Моцарт в сумерки. Бах — только перед сном.

— Виртуоза от дилетанта отличает талант, а не усердие...

Теперь старый учитель не грозит пальцем перед его носом; он сложил пальцы щепотью, словно там находится смысл его слов:

— Бах, Бах, Бах! По двадцать четыре часа в сутки, если бы это было возможно. Каждую минуту Бах!

Нет, Бах только на ночь. И если нет физических и духовных сил, чтобы сесть за рояль, достаточно поставить пластинку и уснуть, слушая «Искусство фуги». А сейчас Шуман. Исабель могла бы сидеть подле него, потягивая коктейль «дайкири» (зимой «Александр»), подставив ветру свои распущенные волосы и глядя, как сгущаются сумерки над разноцветным морем, молчаливая, сосредоточенная. И когда он поворачивал голову, видел ее опущенные глаза, которые тут же подымались, потому что она всегда чувствовала на себе чужой взгляд, точно нарушавший ее покой. А иногда и не обнаруживал ее на обычном месте, ибо она также умела бесшумно выскальзывать из комнаты, исчезать, оставляя после себя почти осязаемое впечатление своего присутствия.

Да, мой старый учитель, может, вы и здесь, у меня за спиной, и заставляете меня играть Баха по двадцать четыре часа в сутки, в конце концов, смерть вряд ли может помешать вашему упорству, но вы не знаете, что стоило мне взять несколько нот из Шумана, как сейчас же приходила Исабель и садилась вот здесь, у вас за спиной, а может, и рядом с вами, и глядела на море, прежде такое дружелюбное, но однажды поглотившее ее, как поглотило всех их — лживых болтунов, всезнаек, спаянных мнимым братством, ибо море ненасытно, в его пучине исчезло множество потерпевших крушение кораблей и городов, оно разрушает утесы, затопляет целые континенты, оно надувало паруса смельчаков, помогая им бороться с бурей, а потом пожирало их, позволив лишь на миг ощутить сладость подвига, насладиться вкусом победы — на столетие или на мгновение, — чтобы затем поглотить их потомков — стремительный взлет и гримаса смерти, — разбрасывая последний порох конкистадоров, расшвыривая их, как ненужную

пададь, полуголых, сбившихся с пути, где-то там, на затерянных берегах, вдали от покоя и порядка, без закона и семени, без книги и шпаги, только с ужасом, застывшим в глазах, и страхом перед волной, которая все захлестывает. Они не понимали, как не понимали те, кто бежал из Египта, и те, кто в отчаянии ждал того дня, когда море поглотит человечество, и не могли понять, что назначение моря в том и состоит, чтобы увенчать жизнь смертью: воздвигнуть невидимые царства из сокровищ, отнятых у человека, уничтожить цивилизации и не закрывать своей ненасытной пасти до тех пор, пока оно не положит конец истории.

Теперь бушующее море поглощало их одного за другим.

— Все быстрее и быстрее...

— Все ускоряя темп: совсем как Гудини!

— Говорят, он не глотает иглы, а собирает их во рту...

— Юдифь, дорогая, еще Мерлин¹ сказал: «Раскрытая тайна — это история, объясненная тайна — наука». Гудини собирает иглы на маленькие магниты, которые можно купить в любом магазине. Он создал себе репутацию мага, а другие набивают карманы деньгами, наживаясь на его успехе. То же произошло с Бахом и Бетховеном...

Оно поглотило всех. Одного за другим. И ее тоже. Она, которая, казалось, могла сопротивляться до бесконечности, вдруг почувствовала, что силы изменили ей, а нервы больше не выдерживают. Она дала себя увлечь, захлестнуть, ввергнуть в пучину, и никто не мог прийти ей на помощь. Она ушла на дно, исчезла навсегда вместе со своей улыбкой, ибо нельзя среди разбушевавшейся бури, которая все разрушает, сохранить гордый профиль, изящную прическу, удивительную гармонию шеи и рук, которым могла бы позавидовать сама Павлова, особенно когда Исабель с бокалом в руке слушала Шумана в тот час, когда море спокойно, миролюбиво, а заходящее солнце окрашивает его своими огненными бликами.

Он играет «Грезы» в лучах заходящего солнца и

¹ Мерлин — легендарный волшебник, герой древнебританского цикла сказаний.

думает о том, что через несколько минут Исабель спустится по этой оголенной лестнице без перил, освещенной одинокой лампочкой, раскачивающейся на ветру, пройдет по коридорам и вестибюлю, тоже оголенным, пересечет заросли кустарника, направляясь к пилястрам, которые когда-то держали большую железную ограду... Ту самую ограду, мимо которой он однажды стремительно пробежал, пересек не заросли кустарника, а заботливо ухоженный сад и, ничего не замечая вокруг, промчался мимо испуганного Амбросио, поджидавшего его в приоткрытых дверях, чтобы, не теряя ни минуты, взбежать по широкой лестнице, достойной их рода, и войти в комнату со спущенными занавесями, где лежал его глава — тяжело дышавший, мертвенно бледный — и смотрел своими блестящими глазами на жену, сидевшую в изголовье, необычно тихую, подавленную, со скорбной и жалостной складкой у губ, и на него, остановившегося только на мгновение, которое понадобилось, чтобы понять: жизнь уходит из этих проныцательных, устремленных на него глаз, — затем он взял отцовскую руку, ожидая последнего слова, ибо вдруг понял, что отец еще многого не успел сказать, он угадывал это по его взгляду, по его пожатию и думал о том, что слишком много времени проводил за роялем, наслаждаясь музыкой и считая это наслаждение единственным, забыв об этом человеке, грубом, властном, но в то же время добром и благородном, думал, что им потеряны тысячи таких минут, как эта, когда он мог посмотреть отцу в глаза, ощущать его энергичное пожатие, почувствовать его участие, даже когда смертельная болезнь уже отметила своей печатью это состарившееся лицо. Он вдруг осознал, что этого мгновения недостаточно, что понадобятся долгие часы, сотни дней, проведенных за роялем, чтобы понять то, что хотел сказать ему этот человек и, может быть, еще скажет перед смертью. И, как бы отвечая на его мысли, умирающий покачал головой, словно не соглашался с чем-то, о чем знал только он, и в отчаянии устремил взгляд на жену, у которой было очень спокойное лицо и скрещенные руки, совсем как тогда — в первый день их встречи, — когда в суматохе железнодорожной станции их взгляды нашли друг друга и оба уже знали, каждый по-своему, что эта встреча свяжет их навсегда, на всю жизнь

до такой вот минуты, как эта, когда уже в последний раз один из них — он — будет в отчаянии качать головой, глядя на жену, но сжимая пальцы сына, который стоит возле него с искаженным от горя лицом и думает о том, что слишком мало времени уделял этому человеку, который уже никогда не скажет ему того, что хотел сказать.

Вот почему он не проронил тогда ни слова. Да в этом и не было необходимости, ибо он, Хорхе Луис, чувствуя, как отец сжимает ему руку, готов был выполнить любое его желание, хотя на лице отца ничего нельзя было прочесть. Он заглядывал в глубину отцовских глаз, изо всех сил стискивал его кулак, дрожащее запястье, чувствуя, как едва заметно напряглись сухожилия и мускулы, как по ним прошла легкая дрожь, и не мог отвести взгляда от этих глаз, блестящих, выразительных, мятежных, гаснущих, но не сдающихся. Его лицо уже не было мертвенно-бледным, только складка возле губ оставалась неизменной. Он все сильнее и сильнее стискивал запястье, желая уловить биение этого упорного, настойчивого пульса и не смея взглянуть на мать, которая первый раз хрустнула судорожно сжатыми пальцами, видя, как муж поднимает свою дрожащую от напряжения руку, притягивает к себе объятую ужасом, покрытого испариной сына, всем телом приникшего к его руке, как всегда победоносно поднятой; ибо такой человек не мог отойти, как все, он и в последний миг должен был бросить вызов и умереть, лишь сказав гордо, как всегда, сказав себе в утешение то, что говорил обычно в трудную минуту: «Могу...»

Но этого слова они так и не услышали. Они только увидели, как безжизненно опустилась его рука на постель, и растерялись. Хорхе Луису показалось тогда, что отец улыбается. Но по рыданиям матери, ее судорожным объятиям он догадался, что отца уже нет в живых, хотя и не совсем понимал, что произошло, все еще чувствуя стремление могучей руки подняться вверх, все еще находясь во власти блестящего, сурового, мятежного взгляда, все еще стараясь удержать роковое, угрожающее движение этой руки, словно от этого зависела жизнь их обоих. Ибо благодаря этому пожатию — самому искреннему, самому откровенному из всех, ка-

кие у них были,— ему показалось, что он постиг то, что отец хотел ему сказать, но все откладывал, и это открытие совершилось в тишине — как и утверждал старый учитель,— а не в звуках музыки, и не в лживых словах, и даже не во взглядах, которые часто обманывают своим блеском. Ему помогли понять отца его руки, его бессмысленная улыбка, которая уже не была ни улыбкой, ни гримасой, ни оскалом и не выражала ничего определенного, ибо она уже не принадлежала ни этой жизни, ни какой-либо другой, а лишь изогнула бесцветные губы, которые уже не выражали ни радости, ни огорчения, она ничем не походила на обычные улыбки и потрясала, как потрясает нас все простое и вечное.

Мать безудержно рыдала в голос, вцепившись в тело отца. Его открытые глаза еще не утратили серьезного и словно обиженного выражения, но он уже ушел и позволял тормозить себя, поворачивать свое безжизненное тело, все так же улыбаясь и не слыша больше криков той, которая никак не хотела признать его поражение, не хотела смириться с тем, что он мертв. Она не переставала душераздирающе кричать, не замечая, как сын выбежал из комнаты, расталкивая заплаканных слуг, которые толпились в дверях, они почтительно, ласково и сочувственно похлопали его по плечу, но не посмели войти в комнату, напуганные надрывными криками и причитаниями матери, которая вдруг надолго замолкала, когда уже не было сил кричать, и вздрагивала от тяжелых шагов Хорхе Луиса, поднимавшегося по лестнице, чтобы поскорее куда-нибудь уйти от этой смерти. В конце концов он оказался у того самого рояля, отнимавшего у него столько времени, лишая возможности поговорить с отцом, и сел играть, как каждый день, ибо в мире звуков он находил покой, которого нет ни в одном другом мире.

Да, токкату Иоганна Себастьяна можно сравнить с лестницей Пиранези¹, которая устремлялась к единственной, несуществующей в этом мире точке, ибо им

¹ Пиранези, Джованни Баттиста (1720—1778) — выдающийся итальянский гравер и архитектор, работы которого отличаются исключительной смелостью и грандиозностью замысла.

обоим надо было отрешиться от действительности, чтобы достичь того перекрестка, от которого все пути ведут к безвыходному выбору, граничащему с пустотой. Вот почему, внемля голосу Баха, — ему тоже неведомо было понятие, связывающее со смертью конец любви или отчаяния, — он спускался по лестнице. Но не по той лестнице, лишенной величия, голой, не по тем шатким лесам, по которым одержимый итальянец подымался к несуществующему свету, и не по лестнице своего детства, которая вела его не только к роскоши, но и открывала путь в неведомый мир, населенный волшебниками, домовыми и усердными гномами.

Он внемлет голосу Баха. И голосу своей бабушки, продолжавшему звучать вопреки времени, потому что всю свою жизнь она посвятила таинственной карте, которую вычерчивала на извести стены, предсказывая дни счастья, изобретая свою геометрию, достаточно могущественную, чтобы объяснить начало, изобретая кабалистические формулы, лишаящие тайны любой конец. А в минуты уныния занималась тем, что расшифровывала этот вещий язык, который потом он распознал в музыке Иоганна Себастьяна, стремясь по едва заметным линиям, слабым штрихам провидеть грядущие удары судьбы, чтобы противостоять этому миру.

Теперь он должен оставаться глухим к этому голосу, проходить мимо этой двери. Спальня бабушки уже не убежище тайн — просто пустая комната, где ветер вздымает пыль, а зодиакальные карты уже не поднимают завесу будущего, потому что дрожащая рука, начертавшая их, давно превратилась в легкий прах прошлого, и только луна да тени — ее закадычные подруги — царствуют в этом замкнутом пространстве, утратившем всякую таинственность.

Многие годы бабушка не выходила из своей комнаты. Как было ей не улыбаться сочувственно тем, кто советовал принимать солнечные ванны, будто бы необходимые для поднятия тонуса? И как было объяснить им — ради их же спокойствия, — что не на солнце, которое дает нам в этом мире жизнь, а в тени или при свете луны можно найти ответ на все вопросы и на единственный, который ее волнует, потому что она дожила до такого возраста, когда неизбежно приближаются к возможности больших и подлинных открытий? Вот по-

чему она прикладывала его руку к свежей извести стены. И от этого маленького отпечатка — близкого еще к тайне рождения — она начинала свой кропотливый труд, проводя линию к созвездию Тельца (о, эта роковая точка в квадрате Марса и роковое сближение противоположных знаков — неукротимого Быка и непроницаемых, бесстрастных Рыб).

Но истинная мудрость состоит в том, чтобы оставаться неизменным, по-новому что-то истолковать, устремить в пустоту, где находятся все ответы, эту роковую линию, робкую, но непреклонную, пересечь карту адских соблазнов, использовать любую возможность с упорством, каким в этом мире обладают лишь те, кто от него отрекся, ибо они не дают обмануть себя знакомым дорогам, которые являются частью тайны, но которые не следует смешивать с самой тайной.

Спальня бабушки заперта, и невозможно войти туда и оставить след на извести стены. Свет луны, лежащий на лестнице, кажется реальным, осязаемым. Пересекая темный коридор, бесполезно стучать слабыми кулачками в дверь родителей. Никто не отзовется на стук. Никто не услышит тихих удаляющихся шагов. Никто никогда не прервет больше блуждания любопытного, жадного взгляда ребенка. Слуги умирают ночью. Да, да, совсем как в старых легендах... Пустой дом становится больше... А лестница под его ногами длиннее, как любимая дорога, которая никуда не ведет. Поэтому надо пройти в тишине лестничные площадки, коридоры и галереи, мимо мертвых взглядов на портретах предков, мимо жестов, остановленных навсегда, отодвинуть засов и, не задевая мебели, продолжать свой бесконечный спуск, как бы навстречу судьбе, ведь это еще время детства, а не время поражений, и руки еще слишком слабы, чтобы преодолевать трудности, ноги слишком малы, чтобы приходить, когда нужно, взгляд слишком наивен, чтобы различить путь, ведущий к величию, а слух слишком нежен, чтобы уловить в тишине пустого дома шум истории и знамения, которые бедная бабушка тщетно пыталась угадать.

Потому что он мальчик, а не взрослый мужчина, который спускается сейчас по лестнице, хотя у него тот же взгляд и он испытывает то же волнение, которое испытывал, когда был способен слушать тишину,

как этого хотел учитель музыки, и постигать ее смысл, а ноги были способны устремляться к убежищу, где мог найти успокоение ребенок, который еще не знал своего будущего. Не знал, что настанет день, когда он уже не будет ступать по белому каррарскому мрамору и не будет задвигать засовы, потому что не станет дверей, не знал, что эта лестница оборвется однажды, как предназначено судьбой, и приведет его в подвал, затопленный дождем, покрытый личинками moskitov, пахнущий затхлой водой, туда, где прежде от прикосновения его маленькой руки возникало приятное тепло родного дома и оживало столько воспоминаний, погребенных под пылью, туда, где от порывов нескромного ветра взлетал муслици на вешалках и казалось, что подвал наполняется легкими коломбинами, хитрыми полишинелями и старыми дамами, которые нашептывают свои тайны под взмахи вееров и аккорды струнного оркестра, рассеянно глядя на пары, кружащиеся в вихре вальса, туда, куда он отправлялся в поисках бог знает чего и где неизменно находил убежище своему одиночеству и своей меланхолии, туда, где всегда возникало чувство, будто он попал в волшебный мир — в жилище добрых фей,— где время останавливалось перед его изумленным взором, который обнаруживал множество интересных вещей, теперь брошенных и ненужных, и только голоса, зовущие его издали — может быть, из кухни? — не принадлежали этому волнующему миру. Эти вещи постепенно становились ближе ему, открывали свои секреты, и все же не до конца, всегда оставляя что-то в тени, никогда не завершая ни одной истории. Баулы легко уступали его любопытству, показывая свои сокровища: вот подвенечное платье, флердоранж под пожелтевшей фатой забвенья, рядом альбом со старыми фотографиями и дагерротипами, вот револьвер и камей, четки и мачете, выцветшая шляпа с большими полями и лакированный ботинок, золотой наперсток и очки, театральный бинокль и корсет на самую узкую талию, краги и молитвенник, бархатная шляпа, пестрый жилет и пачка писем, перевязанная выцветшими розовыми лентами, костюм моряка и книжечка для баблов, куда записывали приглашения на танцы. И он уже не слышал голосов, зовущих его откуда-то издали,— нетерпеливых, раздраженных, беспокойных, а слышал

другие голоса, наполнявшие мирную тишину. Эти неповторимые голоса...

Разве была минута душевного волнения, несчастья или неудачи, когда бы он не нашел убежища в отдаленном и заброшенном уголке?

К великому удивлению тех, кто минутой раньше — кажется, из глубины сада — громко звал его, может быть, уже в отчаянии, что с ним приключилась беда, он неожиданно ответил:

— Я был в мире призраков...

И уже много позже, когда его руки стали достаточно сильными — правда, не такими, как у отца, — а ноги достаточно крепкими; когда тревожные голоса уже не могли прервать его раздумий; когда уже не надо было прятаться под лестницей, воздвигая бастионы из книг и седел, которые защищали мир призраков от нескромного взгляда Амбросио; когда он уже повзрослел и стал похож на отца фигурой, но не подвижностью, цветом глаз, но без отцовского блеска, без его пронизательности, — он по-прежнему спускался в подвал, однако все реже и реже. Он приходил сюда после долгих перерывов, когда уже, казалось, забывал о самом его существовании, и все же возвращался, потому что всегда наступал миг, как тот, когда он вдруг понял: чтобы распечатать письмо, которое жгло ему карман, прочувствовать каждое его слово, понять смысл, который заключался не только в словах, необходимо вернуться в уголок детства. Вернуться, чтобы прочесть то, что было написано ее рукой, четким почерком, которому так завидовала бабушка, прочесть ее последнее признание, одно-единственное, незабываемое, которое хранят стены этого дома и не могут не хранить, потому что она написала твердой, бестрепетной рукой: «Навсегда, навсегда», потому что еще далек был тот день, когда она, стоя под ветвями вьющихся растений на галерее, поднимет на него глаза и скажет фразу, которая действительно станет последней и раз навсегда перечеркнет ее прежние слова и обещания. Потому что далек был не только тот день, но и другой, когда на этой же самой галерее он вспомнит слова, сказанные Гравалосой: «Ты — фундамент этого дома и воздух, который проникает в него через окна...»

Но на этот раз прозвучал не голос Гравалосы, при-

ятный, звонкий, а его собственный, в пустом подвале, ибо воспоминания уже исчезли из этих мест, а любимые вещи были утрачены навсегда, как и все в этом доме. И он уже не мальчик, а лишь то, что осталось от взрослого человека, который спускается по оголенным лестницам, чтобы достичь этого подвала, не отсыревшего, а затопленного гнилой жижей, по которой ступают его ботинки. Где уже нет ни вешалок, ни муслиновых платьев и где среди пустых стен эхом отдаются его слова: «...воздух, который проникает в него через окна...» Его голос продолжает звучать снова и снова, пока он в костюме, перепачканном пылью и паутиной, прячется в углу под лестницей, а потом, повинувшись какому-то порыву, садится на корточки, как много лет назад, хотя уже нет больше бастионов из книг и сидел и вместо них грязная, зловонная жижа, но он знает, что только здесь он может спастись от этого знакомого голоса, который его зовет, но не из глубины сада, а из глубины его собственной души.

...Многое пришлось пережить, и, едва он закрывал глаза, перед ним тотчас представал мир, потерпевший крушение, разбившийся об утесы, разметавший свои осколки по самым отдаленным берегам. Куда занесло тебя, Исабель, утраченная мечта, женщина из сновидения, потерянная, как и все дорогое сердцу? Одиночество и усталость достигли предела, ибо все усилия сохранить этот мир оказались так же бесполезны, как и поспешное бегство наиболее нетерпеливых. Хотя у них вначале и было некоторое преимущество. Но ты не увидела этого, Исабель. Ты не знаешь, что значит расстаться с самыми дорогими для тебя вещами, которые отдаешь не сострадательным людям, способным понять твою трагедию, а тем, кто выбрасывает все за борт, как ненужный балласт, швыряет в прожорливые пасти, лишь бы поддержать жизнь. Ты так и не узнаешь никогда, что значит выбирать между тем, что для тебя свято, и возможностью дальнейшего существования. Помнишь корабль, плывущий на всех парусах, с канделябрами и еще не остывшим ужином на столе, вином и свежими розами в вазах,— его навсегда покинули те, кто предпочел умереть под водой, но не заплатить за

жизнь слишком дорогую цену. У меня не хватило на это мужества. Я хотел спасти то, что любил больше всего на свете, а на самом деле проел. Я обманул себя. Это оказалось невозможно. И едва он закрывал глаза, в его ушах раздавался все тот же знакомый голос, уже не жалобный, а негодующий, этот мелодичный голос, созданный для сладких тайн, сейчас, в минуту горя и отчаяния, твердо, без устали повторял — вопреки суровым представлениям, которые лишают человека возможности счастья даже на миг, — повторял в минуту бескрайней горечи негодуя, с упреком, но тихо, иначе была бы нарушена семейная традиция, рожденная в шелках и тафте: «Здесь каждый камень — частица твоего отца. Ты понимаешь, что это значит?»

Да, он все понимает. Он знает, что разрушается нечто большее, чем каждый из этих камней. Но он знает также, что сопротивление бесполезно. К чему эта убийственная игра кунальчиков, ускользающих из пальцев океана, замороженных его коварными красками, успокоенных его умиротворяющим шумом, который, словно смерть, идущая из сердца, его яркой радугой тоски, его пастью, жадной, рычащей, вечно разверстой?

— Я чувствую, что он хочет меня поглотить, — сказала Исабель.

Она произнесла это запыхавшись, с улыбкой и упала на песок. Ее грудь вздымалась от учащенного дыхания, пока он шел к столику, чтобы выпить глоток вина.

— Это опасная, но чудесная игра...

Но тогда океан не был таким враждебным. Он, словно влюбленный мужчина, в порыве страсти пытался утащить ее в своих руках, схватив за талию, касаясь ее упругих, узких бедер, лаская ее живот, игриво хватая за щиколотки, растрепывая волосы, покрывая ее гибкий стай мелкими пузырьками, ударяя по губам, обвивая ее лебединую шею, крепко и в то же время осторожно сжимая ее, на миг задерживая в объятиях, чувствуя, как она тщетно пытается вырваться, заглядывая ей в глаза, которые вдруг устремлялись к пляжу, а затем, отчаявшись, отпускал к берегу.

— Самоубийственная игра!

Сейчас он снова думает: к чему была эта невинная самоубийственная игра? И на память снова приходят слова Роберто:

— Это не игра, дорогой кузнец. Это больше чем слово...

Невозможно забыть циничную, язвительную интонацию Роберто, когда он говорил: «Этот дом без пляжа и яхт-клуба никому не нужен»; милого Роберто, взявшего на себя вдруг роль прокурора, и взгляд его холодных как сталь глаз, прежде выражавших полное понимание. Нельзя забыть его обвинений, которые в конечном счете оказались своевременными и провидческими, и тем более нельзя забыть его безжалостного тона и оскорбительных недомолвок. Но он не обо всем говорил, кое-что было выше его понимания. Ибо, хоть наша жизнь и подчинена неизменным законам, разве можно забыть о других, более могущественных, управляющих судьбой окружающего нас мира, о котором мы не хотели знать не потому, что были слишком утонченными, но повинаясь какому-то темному инстинкту? Мы жили, словно в заточении, Роберто. Этот дом, пляж, яхт-клуб и никогда не измеяющий рояль, этот изысканный круг, куда несчастье могло проникнуть только в самой изящной, неизбежной форме — пусть даже оно несло с собой разрушение и оставляло по себе неизгладимую память, — мы лишь закрывали глаза на эти законы, и тогда они навязывали свою волю силой. Мы можем не брать на себя никакой роли в истории, можем сопротивляться ее натиску, поддаться ее жестоким замыслам, но нам никогда не удастся остаться глухими к ее велениям или, вернее, ее неумолимым доводам.

Мы жили в странном мире. И все же должны были догадаться о пустоте наших стремлений к утонченности, к аристократизму, за который предварительно заплачено, в частности теми, кто надрывался, жизни не жалел, чтобы оставить после себя капитал, которым, как и всяким плодом, будут пользоваться, не думая о тяжелой работе корней. И вопреки всем твоим безжалостным выпадам, бедный Роберто, в сущности, мы унаследовали мыльные пузыри.

Жизнь не остановилась, хотя мы захлопнули двери перед ее грозным гулом; люди сражаются, волны по-прежнему захлестывают скалы, скрывая за своим обманчивым рокотом разрушительную силу. Я не могу думать ни о чем другом, когда вижу ряды студентов, одетых в военизированную форму. Цена наших жизней

была слишком велика. Но разве изменится что-нибудь, если мы станем говорить друг другу, что их жизни тоже обходятся нам дорого? Нет. Ничего не изменится. Мы можем упорствовать, но как прогнать мысль, что уже другие пользуются плодами, которые были возвращены тяжким трудом корней? Ах, Роберто, ты даже не представляешь, как все это сложно!

Вот почему он снова вынужден повторить: к чему была эта самоубийственная игра? Надо было сразу согласиться с тем, что это неизбежно. Так же неизбежно, как неизбежен был день, когда он лишился Марии... Он уже свыкся с мыслью, что она будет рядом до конца его дней, но ошибся. Она тоже покинула его. Вернее, он сам попросил ее уйти из дома. Оставить его одного. Да, Мария, мой верный Пятница, возможно, это было сказано в порыве гнева, но это был неизбежный конец...

Все могло быть иначе, если бы он не позвонил тогда в дверь этого дома. Потому что при моей гордости (если ты не захочешь увидеть в этом естественное движение души) тяжело столкнуться с врагом, который пусть даже не из дерзости, а совершенно искренне, что еще хуже, не считает тебя своим врагом.

Но он позвонил. Уверенно, точно весь мир принадлежит ему, с унижающей твердостью, присущей возрасту, когда не считаются с чужими доводами. Как было не изумиться, когда вдруг кто-то звонит — по ошибке или какой-то нежданный гость — в эту дверь в десять часов утра, и, открыв ее, увидеть перед собой молодого человека в оливково-зеленой форме, в ботинках и берете, который, несмотря на все это, входит в твой дом улыбаясь?

Решительный, уверенный, он не знал, не мог знать о том, что стены этого дома, казавшегося таким прочным, вдруг пошатнулись, что в них образовались трещины. Он не мог видеть той катастрофы, той гибели, которые постигли этот дом. И поэтому улыбался с невозмутимостью, в которой поверженным чудится высокомерие.

— Я внук...

Теперь ты понимаешь, бедная Мария? К этому я не был готов. Я многое мог себе вообразить, только не врага в своем доме, которому я даю приют под своей кры-

шей, с которым дышу одним воздухом, делюсь хлебом, водой, солью, одиночеством.

Но как ни велик был мой гнев, мне было жаль тебя. Я вдруг заметил, как загорелись твои глаза, столько повидавшие на своем веку и прежде словно погасшие, заметил, как задрожали твои пальцы, услышал твой тихий, извиняющийся голос из-за прикрытых дверей (у тебя хватило такта не дать ему переступить порог); таким голосом ты говорила, когда продавала вещи с аукциона, словно боялась пробудить отзвук других голосов, недоверчивых, беспокойных. Я прочел в твоих глазах страх и полное понимание того, что все кончено.

Не дожидаясь моего упрека, ты заплакала. Нам обоим было тяжело, но ты не ждала прощенья. И мне нечем было поколебать твою уверенность.

Теперь я знаю: в ту минуту я потерял свою последнюю опору. Но тогда, Мария, я не догадывался об этом. Во мне говорила гордость. Нелегко жить на вражеской территории. Все вокруг так переменилось. Каждый новый день был для меня вызовом. Каждый прожитый час имел особое значение. Строго говоря, я сопротивлялся, но отступал. Подсчитывал свои поражения. Сложилось бы что-нибудь иначе, если бы ты осталась со мной, Исабель? Никто не может этого сказать. У человека безграничные возможности, но он выбирает одну...

Исабель, Амбросио, Мария... Разве мог я когда-нибудь представить, что буду вспоминать ваши имена, как вспоминают героев полузабытых книг детства — принцев, магов, кормилиц и фей, волшебная сила которых побеждает даже время?

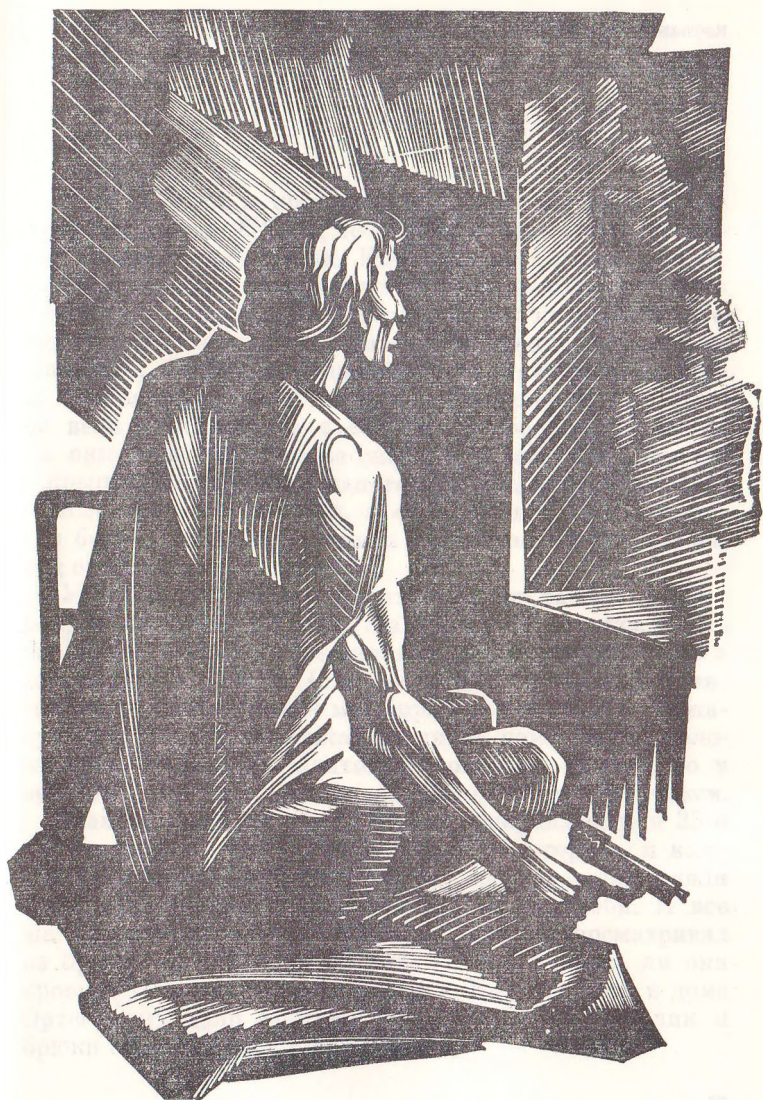
Но не существует ни магов, ни кормилиц: добрая Мария оказалась бабушкой бойца народной милиции. Так же как не существует никакого волшебства: бу маги на столе таят в себе угрозу начинающегося дня. Затем будет недельная щетина и долгая борьба с собой, прежде чем ты спустишься вниз и окунешься в действительность. Мало того, у нас отрастают ногти, отрастают волосы, нужно хоть как-нибудь осветить лестницу, но гибель с уничтожающим спокойствием плетет против нас заговор, как волны шлифуют камни и стекла на берегу и разрушают дерево.

Слова Роберто оказались пророческими: «Революция — это больше чем слово». Да, это больше чем сло-

во; больше чем девять его букв; больше чем этот постоянный гул на улицах, чем этот непрерывный, нескончаемый человеческий поток, который стекается к Площади со знаменами, плакатами, лозунгами, эта масса народа, ликующая, шумная, неугомонная, эти барабаны, крики, грохот, скрежет, гудки машин, повозок, движения рук, хохот, сомбреро, солдаты, бойцы народной милиции, рабочие и крестьяне, их голоса и внезапно наступающая тишина... А затем его голос, сначала приглушенный, потом звонкий, срывающийся, резкий, бичующий, потом набирающий силу и льющийся, как полноводная река, которая все сметает на своем пути. Река, которая становится все шире и шире, увлекая за собой людей — бурный, грозный, могучий поток, не река, а наводнение, потоп, в котором неумолкаемым эхом слышатся голоса потерпевших крушение, тонущих, потерявших всякую надежду на спасение... И это уже не голоса, но единый голос, и не слова, а одно слово. Но это слово больше чем его девять букв, чем все буквы алфавита, чем все эти люди, которые поднимаются по улицам к Площади. Оно заглушает собой телефонные звонки, на которые никто не отвечает, потому что все напрасно, потому что все ушли. Даже те, кто был полон решимости остаться. Исабель, Гравалоса, Нестор. И те, кто уехал не попрощавшись и чьи телефоны теперь молчат. И бесполезно писать им письма, посылать телеграммы, отправлять почтовых голубей или звать их с балкона. Потому что его крика никто не услышит, он затеряется среди монолитного гула голосов, сливающихся в один голос, как и слова, сливающиеся в одно слово, которое теперь превышает всего. Потому что это слово как бушующая река, неукротимая, бурная, всепоглощающая, бездонная, захлестывающая всех своими волнами. За неудержимым бегом этой реки не увидишь окна, открытого в неверные сумерки, не услышишь крика с балкона, отчаянно зовущего тех, кто его покинул: Исабель! Исабель! — и голосов его предков, зато различишь гром истории, сотрясающий улицы, рокочущий, вездесущий, зовущий, как клич охотничьего рога в лесу, к расправе над раненым кабаном, когда уже пахнет кровью, потом, грязью, неистовым запахом боен.

СЕСАР ЛЕАНТЕ

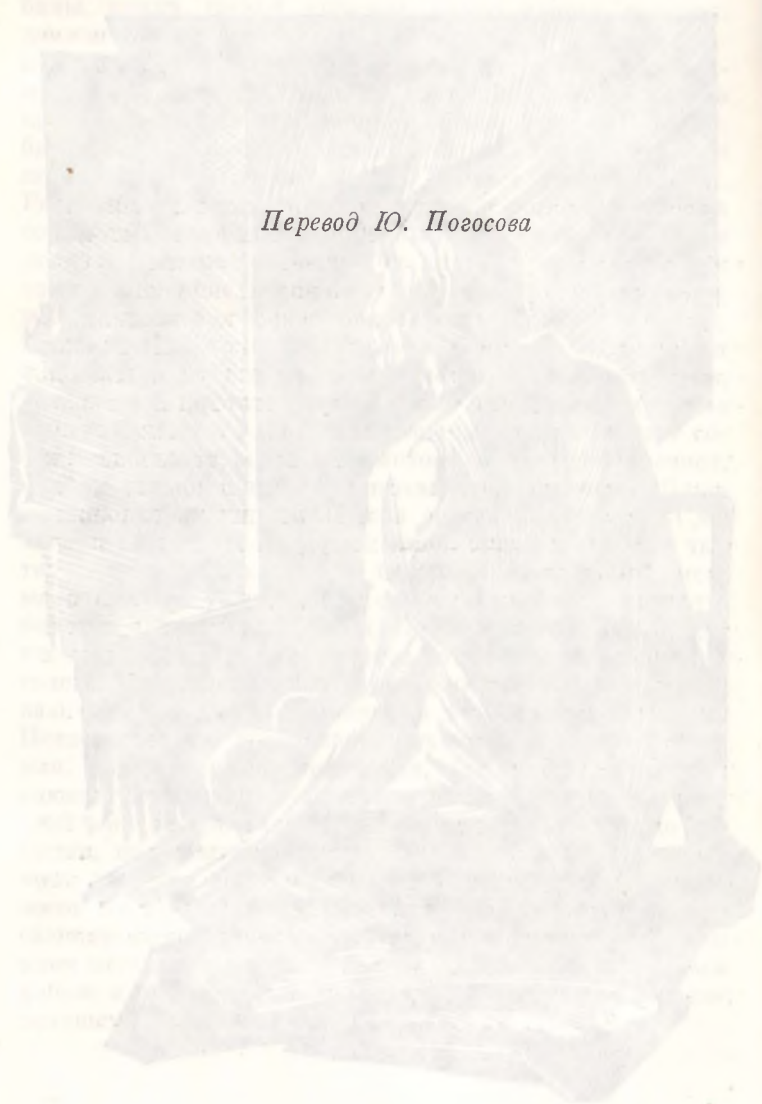
Беглец



CESAR LEANTE

EL PERSEGUIDO

Перевод Ю. Погосова



Мой час уже настал

Хосе Марти

Болело бедро и кровоточила рана, хотя и была перевязана. Когда он шел, то ощущал под правой питанной липкую влагу крови. Ему повезло больше других. По крайней мере он живым выскочил из ловушки, в которую они попали. Вот только бедро прострелили, а ведь многим это стоило жизни. Он видел, как падали товарищи, когда, безостановочно стреляя, прорывались по лестнице на третий этаж, и когда отходили, а солдаты вели по ним огонь с балкона второго этажа, и когда они перебегали через сквер, а те обстреливали их с крыши. Вокруг него свистели пули, впиваясь в бетонные дорожки, в газон, и одна из них продырявила ему бедро. Но в конце концов ему удалось убраться из-под огня и остаться живым.

Убегали они вдвоем с Антонио. Тот также был ранен, но тяжелее: в грудь. Мануэль еще не знал точно, что произошло на месте сражения, и отвез товарища в дом адвоката Ортеги. Сам же решил скрыться в Мантилье, где один человек мог спрятать его у себя. Пожалуй, ему не найти убежища лучше, чем у этого человека. От Ведадо до Мантильи довольно далеко, но у него было около двадцати песо и он мог взять такси.

Мануэль шел по улице «Д» по направлению к 23-й улице, стараясь не волочить ногу. Рана горела, и каждый шаг отдавался болью, но он, насколько позволяли силы, старался не хромать, боясь выдать себя. И все же он прихрамывал и время от времени посматривал на брюки, пытаясь разглядеть, не пропитались ли они кровью. Пока все было в порядке. Ему повезло: в доме Ортеги ему дали костюм, пиджак оказался велик и брюки слишком просторными.

Дойдя до 23-й улицы, он остановился на углу. День был жарким и душным, асфальт блестел на солнце. Миндальные деревья, окружавшие институт¹, стояли неподвижно, входная дверь здания была заперта. Дождавшись зеленого света, Мануэль перешел улицу. На автобусной остановке стояло несколько человек, но никто не обратил на него внимания. Его бледное, мокрое от пота лицо никому не показалось странным. Две жепщины, понизив голос, говорили о вооруженном нападении, в котором он принимал участие, и с чувством, похожим на тщеславие, он подумал, что, наверное, весь город знает о случившемся. Он принимал участие в штурме, на который не многие решились бы. Правда, окончилось это поражением.

На 23-й улице появилась патрульная машина. Она медленно, будто что-то выискивала, двигалась по направлению к набережной. Сердце Мануэля забилося, инстинктивно сделав шаг назад, он сунул руку под пиджак и взялся за рукоятку револьвера, искоса наблюдая за патрульной машиной. В ней сидело трое полицейских, двое из них внимательно оглядывали здание института. Машина повернула на улицу «Д» и стала объезжать институт с другой стороны. Стоявшие на остановке следили за маневрами полицейских и, кажется, вздохнули свободно, когда они скрылись из вида.

К остановке подъехало такси, Мануэль остановил его. Сев рядом с шофером, он дал ему адрес в Мантилье и подумал, что на заднем сиденье было бы безопаснее. Такси завернуло за угол и поехало мимо больницы «Каликсто Гарсиа». Пока они проезжали мимо университета, Мануэль успел заметить, что все здания закрыты и проезды между ними безлюдны. Такси выехало на шоссе, ведущее в Ранчо-Бойерос. На площади, посреди которой искрились струи огромного фонтана, они сделали почти полный круг и выехали на шоссе Виа-Бланка, затем по улице Долорес добрались до проспекта 10 Октября. На протяжении этого долгого пути Мануэль произнес всего несколько слов, хотя, может быть, и стоило поболтать с шофером, чтобы тот ничего не за-

¹ Так назывались на Кубе учебные заведения, где учащиеся в течение трех лет заканчивали образование (полное среднее), получали звание бакалавра, что давало им право сдавать вступительные экзамены в университет.

подозрил. Но у Мануэля не было сил завязать, даже самый пустой разговор. Шофер тоже молчал, и это начинало беспокоить Мануэля, но потом он решил, что у него просто пошаливают нервы.

По проспекту 10 Октября они ехали бесконечно долго: скопление автомобилей и множество светофоров вынуждали шофера вести машину на небольшой скорости. Мануэль обливался потом, не выдержав, он растегнул пиджак и стал обмахиваться его бортами. Рукоятка револьвера, заткнутого за пояс, оказалась на виду. Заметив это, Мануэль тотчас же запахнул пиджак. Он был убежден, что шофер увидел револьвер, и посмотрел на него, но у того на лице не дрогнул ни один мускул, он не отрывал внимательного взгляда от дороги. У 14-го полицейского участка царило необычное оживление. Перед входом высилась баррикада из мешков с песком, у дверей виднелись полицейские с винтовками и патронташами на груди, мелькали синие и желтые мундиры. Движение по боковым улицам было блокировано, несколько патрульных машин стояло у полицейского заслона. Из одной машины в тот момент, когда такси поравнялось со входом в участок, выволокли юношу и пинками втолкнули в дверь. Не задумываясь, Мануэль рванул полу пиджака и, не обращая внимания на шофера, выхватил револьвер. Таксист, кинув быстрый взгляд на Мануэля, нажал на акселератор. Через два квартала Мануэль вновь спрятал револьвер за пояс, застегнул пиджак и, считая, что обязан как-то объяснить свои действия шоферу, сказал, почти успокоившись:

— Надеюсь, вы догадались, что я революционер...

— Политика меня не интересует, — коротко ответил шофер.

Отпустив такси на проспекте Мантилья, Мануэль зашагал по немощеной улице, которая привела его к убогой церквушке с невысокой колокольной, стоявшей на небольшой площади. Приближался вечер, подул легкий ветерок. С площади, которая паходилась на плоской вершине холма, виднелись теснившиеся, как на детском рисунке, дома района Вибора, узкие ленты улиц, кроны деревьев, зеленевшие между зданиями. Мануэль задержался перед входом в церковь и через распахнутую дверь увидел, что внутри, кроме двух ста-

рушек, молившихся перед маленьким освещенным алтарем, никого не было. Тогда он направился к дверям ризницы, и, когда постучал во второй раз, ему открыл маленький, тщедушный священник. Мануэля он знал с детских лет и, по-видимому, был осведомлен насчет его тайной деятельности, так как, увидев юношу, испугался. Однако пригласил войти. Вполне возможно, он поступил так из страха, а не по каким-либо другим соображениям.

Мануэль рассказал о нападении, в котором принимал участие, о том, что он ранен, и попросил убежища.

— Всего на несколько дней, — добавил он, — пока я не свяжусь с организацией. Они спрячут меня в другом месте.

Священник, перво потирая руки, прошелся по комнате, вытер пот со лба и остановился перед Мануэлем.

— Я не могу укрыть тебя здесь, — сказал он.

— Почему? — спросил Мануэль.

— Потому что, если я это сделаю, пострадает церковь.

— Каким образом?

— Если тебя здесь обнаружат, нас обвинят в антиправительственной деятельности.

— Они не найдут меня. Никто не знает, что я здесь, и полиция не придет в голову искать меня в церкви.

— За это никто не может ручаться. Все знают, что ты рос и воспитывался в этом приходе и был крещен в этой церкви. И не удивительно, если они появятся здесь... Если бы ты не был так известен... Но твоя фотография была напечатана в газетах. Ты замешан в стольких... в стольких делах.

Священник снова стал ходить мелкими шажками по ризнице. Мануэль взглядом следил за ним.

— Это ведь ненадолго, — сказал он. — Всего на несколько дней...

Священник остановился.

— Я не могу оставить тебя здесь даже на одну ночь.

Мануэль посмотрел в глаза священнику.

— Мне некуда идти, надре, — медленно произнес он.

Священник схватился за голову, словно она раскалывалась от боли.

— Мне очень жаль, но здесь ты не можешь остаться.

Он ждал, что еще скажет Мануэль, но тот молчал. Тогда он приблизился к юноше и положил руку ему на плечо, с трудом дотянувшись.

— Я всей душой хотел бы помочь тебе. Если бы только мог, но — поверь — не могу, — вздохнув, сказал священник.

— Можете. Ничто вам не мешает разрешить мне остаться здесь на несколько дней.

Священник отступил, явно раздосадованный.

— Это невозможно, — сказал он, — это дом божий...

— Именно поэтому...

— Впутывать бога в борьбу страстей человеческих — святотатство.

— А если в результате этой борьбы покончат с правительством, которое приносит народу только нищету, смерть и горе?

— Царство божье ничего не имеет общего с этим миром.

— Но разве религия не утверждает, что все мы его сыновья?

— Да, все мы дети божьи.

— А разве хороший отец не защищает своего сына, когда он в этом нуждается, разве он покидает его?

— Не впутывай бога в людские распри. Это богохульство, грех. Бог не может принять вашу сторону...

Помолчав, Мануэль устало произнес:

— Я не стану больше спорить с вами, падре. Никто из нас не сможет переубедить другого. Я только прошу укрыть меня на несколько дней. За этим я и пришел.

— Если бы я смог, повторяю, я приютил бы тебя. Но я не могу ничего сделать. Ничего.

— Даже разрешить мне провести ночь в церкви?

— Не могу...

Мануэль молчал. Священник не решался больше смотреть на него. Он опустил голову и скрестил руки, словно готовясь принести себя в жертву.

— Где же мне ночевать? — пробормотал Мануэль.

Священник поднял голову.

— Не знаю... Не имею ни малейшего понятия... Здесь нельзя... — И, немного подумав, добавил: — Там,

за церковью, заброшенный сквер... По ночам он не освещается... Если хочешь, можешь провести ночь там...

Мануэль поблагодарил и направился к выходу.

— Да хранит тебя бог...

Эти слова священника донеслись до него, когда он уже был на улице, затем громко хлопнула дверь.

* * *

Был уже поздний вечер. Скверик, как и говорил падре, начинался сразу за церковью. Бетонные дорожки покрылись трещинами, и там, где когда-то зеленел газон, буйно разрослась сорная трава. Мануэль прошелся по дорожкам, под ногами шуршали листья. Не осталось ни одной целой скамьи, четыре лампочки, висевшие на столбах, были разбиты. В углу сквера виднелась лестница в несколько ступеней, которая вела на улицу, выходящую на проспект Мантилья. Мануэль уселся на ближайшую от лестницы скамью. У нее не хватало одной доски, другая больно врезалась в спину. «А ты ждал найти здесь пружинный матрац?» — с улыбкой подумал он. Мануэль был уверен, что в эту ночь не заснет, но все же положил револьвер рядом с собой. Со скамьи он мог видеть освещенные дома, иногда в окнах мелькали силуэты людей. Мануэль попытался угадать, чем они занимаются. Это было нетрудно. Если сейчас часов восемь или половина девятого, наверное, ужинают, затем переберутся в гостиную к телевизору или радиоприемнику или просто поболтать. Позже свет в окнах погаснет: одни заснут, другие будут предаваться любви. Так было в его доме, когда он был маленьким и жил в этом самом районе, но по другую сторону проспекта Мантилья. Мануэль вспомнил детство, школу, как играл в бейсбол, как по воскресеньям ходил днем на ковбойские фильмы в ближайший кинотеатр. Вспомнил и свою первую любовь. Это была девочка, сидевшая в классе впереди него, вспомнил в подробностях тот день, когда оставил на ее парте бумажку, на которой неуклюже написал: «Я тебя люблю». Надеялся, что она прочтает, как только сядет на свое место. Интересно, что теперь с маленькой Ноэми? И что с теми, с кем он когда-то дружил, кого любил и забыл? Ему стало грустно от нахлынувших воспоминаний. Жизнь показалась чем-то

завершенным, безвозвратно ушедшим вместе со всеми, кого он любил, вместе со всеми страданиями и радостями, которые никогда больше не повторятся. И нынешнее его существование представилось ему каким-то нереальным. Как сон. Дурной сон. И что все-таки реально? Эта его жизнь или та, что захлестнула его волной воспоминаний? Он не мог бы ответить. Он видел сейчас свою жизнь как бы издалека, и расстояние это стирало очертания реальности.

И все же ему хотелось вновь и вновь ощутить эту реальность как нечто ему принадлежащее, как частицу самого себя. Он черпал радость в незначительных, будничных подробностях. В них билась подлинная жизнь, а не в исключительных событиях, происходящих с нами. Первые были вечны, вторые — мимолетны. Именно эти незатейливые подробности и были прекрасны.

Единственная доска спинки давила, и он встал. Медленно пересек скверик. Остановился, вглядываясь в огни проспекта Мантилья, откуда доносился приглушенный шум мчавшихся автомобилей. Он не хотел больше думать о прошлом, надо было отогнать нахлынувшие воспоминания, но мысли против воли обращались к минувшему. Память вновь, будто и не было прошедших лет, возвращала его в детство, в квартал по другую сторону проспекта, туда, где не сверкали эти яркие огни. Отец его был водителем автобуса, а мать немного шила и занималась хозяйством. И поскольку Мануэль был единственным ребенком в семье, они смогли отдать его учиться в институт. Три года назад он поступил в университет, на юридический. Не потому, что ему нравился этот факультет, а потому что отец хотел, чтобы сын обязательно стал адвокатом. «У кого голова па плечах, тому будущее обеспечено. А адвокат может занимать любую должность», — говаривал он. Отец умер, когда он учился на третьем курсе института, но Мануэль последовал его совету. Затем они с матерью переехали в другой район города — Старую Гавану, где сняли небольшой домик на улице Бернаса, прилегающей к площади Кристо: И вот уже почти шесть лет они жили там, правда, последние месяцы он редко ночевал дома. Мануэль предполагал, что полиция следила за их домом, и старался не появляться там, когда намечалась какая-нибудь акция, вроде сегодняшней, которую они готовили

более трех месяцев. Он почти не виделся с матерью уже несколько месяцев и не сомневался, что она страдает, зная, чем он занимается. Всякий раз, как он приходил домой поздно ночью, она со слезами просила его бросить все это и возобновить учебу. Мануэлю хотелось успокоить ее, он мучился оттого, что причиняет ей боль, но ничего не мог сделать: вне организации для него не было жизни. Да и как он мог оставить товарищей — ведь у них была одна судьба. Когда участвуешь в такой борьбе, отступление невозможно, надо идти до конца. Иногда он сам удивлялся, насколько его захватило революционное движение. Кто бы мог подумать, что так сложится его жизнь. Ведь началось все в институте и поначалу могло показаться игрой: незрелые студенческие забастовки, споры за места в руководстве Ассоциацией учащихся, бесцельные демонстрации... В университете все было намного серьезнее, но все же до решительных акций не доходило. Когда Мануэль впервые поднялся по лестнице, ведущей на вершину холма, где находился университет, шел третий год правления Батисты, пришедшего к власти после военного переворота. Студенты часто выступали против его режима, и Мануэль сразу же присоединился к ним. Но, как и в институте, у него не было ясного представления, к каким последствиям может это привести. Он не думал о бомбах, покушениях, диверсиях, его политическое мышление не отличалось глубиной и оригинальностью. Почему он боролся? Вряд ли он мог ответить что-либо, кроме того, что борется за свободу. Он ненавидел деспота Батисту, надменное офицерство, продажных чиновников, кровавые и жестокие меры, с помощью которых устраивали противников режима. Но он еще не думал о необходимости социальных перемен. И может быть, сейчас, этой ночью, он тоже не думал об этом, хотя о социальном смысле борьбы иногда задумывался. Например, в 1955 году после страшной гибели студента Рубена во время демонстрации и избияния студентов на стадионе, где он тоже присутствовал. Разумеется, немалую роль в его развитии сыграла высадка Фиделя Кастро и его сподвижников в провинции Орьенте. Вот когда их движение очистилось от студенческого фрондерства, обрело революционный характер. Теперь их жизнь больше им не принадлежала, и Мануэль без остатка отдался борьбе. Он стал профес-

сиональным революционером — у него не было и не могло быть иного пути.

Рана напоминала о себе острой болью. Он вернулся к скамейке, поднял штанину. Бинт был влажным, но Мануэль не решился его снять. Если эту ночь он проведет спокойно, вполне возможно, рана затянется и кровотечение прекратится.

Время шло незаметно, свет в окнах постепенно гас. Уличный шум также затихал. Ему стало холодно, и он поплотнее запахнулся в пиджак. Неужели это жар? Он дотронулся до лба — горячий. Да, кажется, жар. Не может быть, чтобы в марте по ночам было так холодно. Он решил не спать, но веки слипались.

Он боролся со сном, время от времени открывал глаза и тряс головой, но ничего не мог с собой поделать. Тогда он решил немного поспать, ведь ничто ему не угрожает. Однако лучше у лечь на траве, а не на скамейке. В высокой траве можно было укрыться, да к тому же и лежать на ней было удобнее. В центре скверика он устроился под каким-то деревом, скорчившись и скрестив на груди руки, револьвер держал наготове. Через несколько минут он погрузился в глубокий сон.

Мануэль не знал, сколько проспал, его вдруг разбудил шум шагов и приглушенные голоса. Он приподнялся на локтях, напряженно всматриваясь туда, откуда доносился шум. Вначале он различил лишь две тени, а когда глаза привыкли к темноте, понял, что это мужчина и женщина. Он обнимал ее, она пыталась высвободиться и без особой настойчивости повторяла «нет, нет», а мужчина твердил «да, да», но, по-видимому, она сказала наконец «да», потому что они сошли с дорожки в траву. Он улыбнулся, оказавшись невольным свидетелем этого любовного свидания, вспомнил женщину, с которой у него когда-то была связь. Думая о ней, он снова погрузился в сон.

Перед рассветом Мануэль почувствовал, как кто-то легко касается его лица. Сквозь сон потер щеку, но щека не проходила. Открыл глаза и прямо у своего лица увидел собачью морду. Пес лизал ему щеку. Мануэль оттолкнул его, пес отбежал, не сводя с Мануэля печального взгляда. Увидев, что небо прояснилось, Мануэль поднялся. Оглянулся вокруг — никого. Отряхнул оде-

жду и спрятал револьвер. Был, наверное, шестой час утра, рассвет только занимался, прочертив молочно-белую полоску в темно-синем небе. Мануэль решил идти к Рамону и просить, чтобы тот укрыл его у себя. Правда, там было небезопасно: Рамон жил в многоквартирном доме на углу улиц Рейна и Манрике, в довольно населенном квартале. Но иного выбора не было. Мануэль был уверен, что Рамон ему не откажет. Они сошлись еще в институте, вместе готовились к экзаменам и когда-то были неразлучными друзьями. Затем Рамон женился, и они стали видеться все реже, хотя Мануэль и продолжал время от времени навещать друга. У Рамона было двое детей, которые называли Мануэля дядей — Рамон сказал им, что они с Мануэлем все равно что братья. Нет, Рамон не должен отказать ему.

Он направился к лестнице. Пес, остановившись в нескольких шагах от Мануэля, внимательно следил за каждым его движением. Проходя мимо пса, Мануэль ласково потрепал его по голове, словно благодаря за то, что тот его разбудил. Пес весело завилял хвостом и побежал за ним. У лестницы пес остановился и стал лаять вслед удалявшемуся Мануэлю. Решив, что пес прощается с ним, Мануэль обернулся, помахал ему рукой и пробормотал: «Прощай, приятель». Пес тотчас побежал к юноше и подпрыгнул на задних лапах. Наклонившись, Мануэль погладил его худую спину и тихо сказал: «Тебе нельзя идти со мной. Ты должен остаться здесь. Давай, возвращайся в сквер». Но пес не трогался с места. Тогда Мануэль сказал: «Я бы взял тебя с собой, уж очень мы с тобой похожи. Обоим некуда деваться. Из нас получилась бы превосходная пара. Но не могу. Я должен идти один. Придется нам расстаться». Потрепав пса за ухо, он пошел прочь. На этот раз пес остался на месте и только проводил Мануэля внимательным взглядом.

Когда Мануэль поравнялся с церквушкой, глухо, словно старческий голос, задребезжал колокол, сзывая паству к утренней мессе. Он повернул лицо к колокольне и, улыбнувшись, представил себе, как маленький падре быстро уплетает завтрак, а затем, нырнув в сутану, в которой он напоминал немощную старушку, отправляется к первой мессе. Мануэль не испытывал ненависти, ему было просто жаль старика.

Квартира Рамона находилась на втором этаже, и Мануэль с трудом поднялся по лестнице. Он несколько раз нажал на кнопку звонка, прежде чем дверь отворилась. Показалось заспанное лицо жены Рамона, которая сначала его не узнала и пробормотала сонным голосом:

— Кто вы такой? Что вам надо?

Мануэль, улыбнувшись, ответил:

— Здравствуй, Чики. Не узнаешь меня?

У женщины от страха округлились глаза, она побледнела и приглушенно воскликнула: «Мануэль?!» В растерянности поправила волосы, хотела что-то сказать, но так и не нашла. Мануэль ждал, что Чики пригласит его войти, но она продолжала придерживать дверь.

— Прости, что я пришел так рано, но я должен... должен поговорить с вами... С Рамоном... Он дома? — сказал Мануэль смущенно, словно извиняясь.

— Да-а...

— Ты можешь сказать ему, что я пришел?

— Не знаю... Он еще спит...

— Прошу тебя, разбуди его, Чики. Он очень нужен мне.

Женщина опустила голову.

— Ладно... подожди минутку.

— Хорошо.

— Извини, что я не приглашаю тебя войти... Я еще в ночной рубашке... — сказала она уже из коридора.

— Не беспокойся, это не имеет значения, — ответил Мануэль, немного повысив голос.

Прошло достаточно времени, как ему показалось, чтобы Рамон поднялся с постели и вышел к нему. Наконец послышались приглушенные голоса. Он не разбирал, о чем говорили Чики и Рамон, но догадывался, что о нем. Охваченный беспокойством, Мануэль принялся машинально ходить у двери взад-вперед.

Наконец появился Рамон и, улыбаясь, протянул ему руку. Увидев друга, Мануэль обрадовался, но успел отметить про себя, что рука Рамона была холодной, а улыбка — несколько натянутой.

— Садись, Мануэль, — пригласил он и захлопнул за Мануэлем дверь.

Рамон уселся в кресле напротив Мануэля. Рядом, запахнувшись в халат, стояла Чики.

— Что привело тебя к нам? — спросил Рамон, стараясь придать своему голосу доброжелательность. — Кажется, месяца четыре мы тебя не видели. Или больше?..

— Пожалуй...

Мануэль хотел было еще что-то сказать, но Чики его прервала.

— Прошу вас, говорите потише, а то разбудите детей.

— Ладно, ладно, не беспокойся, — сказал Рамон и вновь обратился к Мануэлю. — Итак, что тебя привело сюда? — В его голосе появились нетерпеливые нотки.

Мануэль подумал, как лучше объяснить причину своего прихода, и решил сказать прямо:

— Наверное, ты уже знаешь, что произошло вчера.

— Вооруженное нападение?

— Да. Я в нем участвовал. Меня ранили в ногу... — Он потрогал правое бедро. Рамон и Чики проследили взглядом за его рукой. — Всех, кому удалось скрыться, разыскивает полиция. Мне некуда идти, Рамон. Эту ночь я спал в сквере. Прошу тебя, спрячь меня в своей квартире.

Рамон опустил голову, пригладил волосы. Чики не сводила с него глаз. Рамон молчал, и Мануэль наклонился к нему:

— Всего на несколько дней. Затем я постараюсь связаться с членами организации... Многих из них полиция не знает... Они найдут мне другое убежище...

Рамон продолжал молчать, опустив голову. Тишину нарушила Чики.

— У Рамона не хватает смелости отказать тебе, Мануэль, — сказала она решительно. — Но у меня хватит. Мы не можем спрятать тебя.

Мануэль посмотрел на нее, а Рамон, которому слова жены придали храбрости, сказал:

— Чики права. Мы не можем тебя спрятать. Я понимаю твоё положение, и мне хотелось бы помочь тебе. Ты ведь знаешь, для меня ты был больше чем другом — братом. Но я ничего не могу поделать. Где я тебя спрячу, Мануэль? У нас очень маленькая квартира. Наша семья еле помещается в ней...

— Я мог бы спать в любом месте, в гостиной, в кухне, на полу...— говорил Мануэль, уже потеряв надежду.— Я не буду мешать вам...

— Дело не в этом, Мануэль. Ты знаешь, что нам ты никакого беспокойства не причинишь, если будешь жить у нас. Дело в том... Просто очень тесно. И к тому же это было бы крайне опасно для тебя.

— Почему?

— Из-за детей. Ты ведь знаешь, как любопытна детвора. Начнут про тебя расспрашивать, и в один прекрасный день весь квартал узнает, что ты у нас скрываешься. Нет, Мануэль, ради твоего спасения ты не должен здесь оставаться.

На этот раз голову опустил Мануэль. Ему хотелось обругать Рамона, даже ударить его. Но он был слишком подавлен. Чики шагнула к нему.

— Рамон прав, Мануэль. Оставаться здесь очень опасно для тебя.

Мануэль поднял голову. Он посмотрел на Чики, затем на Рамона.

— А для вас? — сказал он холодно, почти враждебно.

— Что-что? — пробормотал Рамон.

— Для тебя и твоей жены — тоже опасно? Не так ли?

Чики и Рамон растерянно посмотрели друг на друга. Они не знали, что отвечать. Наконец Рамон решился:

— Да, так. Не отрицаю. Если ты останешься здесь, нам тоже будет угрожать опасность. Мы превратимся в твоих сообщников. Я не беспокоюсь ни за себя, ни за Чики, я беспокоюсь за детей. Ты знаешь сам, что со мной будет, если полиция схватит тебя в моем доме. Я не хочу, чтобы мои дети росли без отца.— Его голос дрогнул и зазвучал умоляюще.— Я женатый человек, Мануэль, пойми это. На мне лежат определенные обязанности, которыми я не имею права пренебрегать. Прежде всего я должен думать о детях. Ты понимаешь, Мануэль?

Мануэль взглянул на него и поднялся. Рамон тоже встал.

— Мне хотелось бы, чтобы ты понял меня и не считал трусом. Если бы я не был женат или не имел детей, другое дело. Мне близки ваши идеалы, я ненавижу

Батисту, хочу, чтобы его прикончили или чтобы он провалился к...

— Не так громко, Рамон,— прервала его Чики.

— ...Помнишь, в институте, я тоже участвовал в борьбе...

Внезапно он умолк, встретившись с презрительным взглядом Мануэля, который направился к дверям.

— Подожди.— Рамон подошел к нему. Чики испуганно смотрела на мужа.— Тебе нужны деньги? Я могу дать немного.

Мануэль задохнулся от гнева. Как ему хотелось сейчас ударить его и бить, бить до изнеможения. Стиснув зубы, он сказал:

— Побереги свои деньги. Они мне не нужны.

Рванул дверь и, выходя, хлопнул ею что было сил.

* * *

Когда Мануэль вновь очутился на улице, уже начали открываться магазины, оживилось движение. Он остановился на углу. Куда идти, он не знал... Вспомнил о подвале на 29-й улице, который служил им сборным пунктом... Нет, нет. Только болван может туда отправиться — его либо уже заняла полиция, либо за ним установлено наблюдение. Куда же еще?.. Куда?.. В фармацевтическое училище! Привратник был его приятелем, сочувствовал их настроениям и однажды ночью, после диверсии, прятал у себя Мануэля и Рафаэля. Да, на него можно положиться. Надо немедленно идти к нему. Это где-то на углу Галиано и Сан-Ласаро. Он уже подошел к краю тротуара, чтобы остановить такси, которое приближалось по Рейне, но вдруг вспомнил: привратник предупреждал, что может располагать помещением только по воскресеньям или по субботам после окончания занятий... А какой сегодня день? Понедельник?.. Вторник?.. Во всяком случае, не суббота и не воскресенье.

Мануэль прислонился к стене дома и, уставившись в землю, задумчиво потирал лоб. По-видимому, он привлек внимание прохожих, которые стали на него поглядывать. Мануэль выпрямился. По тротуару бежал продавец газеты «Эль Паис».

— Покупайте! Покупайте! Читайте о штурме в нашей газете! Потрясающее событие!

Он купил газету. Первая полоса пестрела фотографиями: танки на улицах, автобус, изрешеченный пулями, пулеметы на крыше, валяющиеся на земле трупы его товарищей... Заявление Батисты и редакционная статья, призывающая кубинцев к благоразумию, были тенденциозны и оправдывали действия властей. Мануэль посмотрел на дату: сегодня вторник. Сложил газету и сунул в карман пиджака. Огляделся по сторонам. Больше он не мог стоять здесь, ничего не предпринимая. Надо было куда-то идти... Куда? Ирен! Это имя вдруг пришло ему на ум. Пойти к ней, попросить, чтобы она его спрятала? Она не откажет, он был уверен. Мануэль помнил, где она жила: в районе Ведадо, на улице «Х», неподалеку от бульвара Кальсада.

Он не знал номера дома. Но вспомнил бы этот дом, если бы увидел его. Ведь он два раза провожал Ирен... Мануэль пошел куда глаза глядят, не переставая думать о девушке... Они познакомились в университете. Она училась на факультете философии и словесности. Их первая встреча произошла в Лавровом саду, что раскинулся между университетскими корпусами. Он увидел Ирен сидящей с книгой на скамейке. Мануэль сел рядом и спросил, что она читает. Она показала: кажется, книга называлась «Местожителство — Земля». Он перелистал ее и прочитал несколько стихотворений, понравилось. Потом они говорили о поэзии, и она смеялась над его вкусами, пообещав дать ему почитать настоящих поэтов — не то, что эти рифмоплеты, которых он хвалил. Мануэль тоже посмеялся, и они стали встречаться на этой скамье, или на площади Каденас, или в патио здания философского факультета. Но поэзия и учеба уже не занимали прежнего места в их разговорах. Мануэль не был новичком в любовных делах, его возлюбленными бывали и женщины старше его. Но когда он в первый раз взял руку Ирен, он почувствовал, как сильно забилось его сердце и кровь прилила к лицу. Однажды на экскурсии в Виньялес он ее поцеловал, и ему показалось, что никогда прежде он не целовал женщин. Это было в первые месяцы его занятий в университете. Затем он вступил в революционную организацию, и они стали видаться реже — не хватало време-

ни. Но и когда Ирен тоже включилась в работу: продавала бонны, распространяла пропагандистские материалы, их встречи не участились. Вот и теперь он почти три месяца не виделся с ней, был занят подготовкой вчерашней акции.

Как он хотел бы увидеть Ирен! Мануэль понял, что любит ее по-настоящему. А может быть, оставшись без друзей, в одиночестве, он просто искал ее поддержки? Нет. Он думал о ней и хотел видеть Ирен, потому что любил ее. Ему казалось, будь она рядом с ним — ему ничто не угрожало бы. Наверное, потому что в ней чувствовалась какая-то внутренняя сила, готовность к самопожертвованию. Будь она рядом, он бы ничего не боялся. Однако Ирен жила не одна, и ее родители не хотели, чтобы их дочь была втянута в опасное дело. Как-то мать и отец Ирен случайно обнаружили в ее комнате листовки и очень расстроились. С того времени они следили за каждым ее шагом, и девушке приходилось заниматься делами организации с большой осторожностью, она не хотела огорчать стариков, у которых, кроме нее, никого не было... Мануэль представил себе, как они перепугаются, если Ирен, а в этом он был уверен, спрячет его в своем доме. Он спрашивал себя, вправе ли он заставлять их беспокоиться, больше того — подвергать опасности их жизнь... Мануэль не знал, что делать.

Незаметно для себя он оказался у кинотеатра «Рейна» и остановился перед рекламным щитом. Показывали какой-то мексиканский фильм с Хорхе Негрете и Глорией Марин. На одной фотографии Хорхе Негрете восседал на коне, на второй лупил в баре другого бравого мексиканца, а на третьей — сомбреро за спиной, руки в бока — пел серенаду под окном Глории Марин. Мануэль вдруг захотел посмотреть картину и сам себе удивился: как легко, оказывается, может меняться настроение у человека. Достаточно на минутку отвлечься, чтобы забылись все невзгоды и волнения. Он где-то читал или слышал, что во время штурма казармы Монкада один из революционеров, устав от боя, спокойно заснул, забыв о смерти, которая в конце концов его нашла...

Мануэль посмотрел по сторонам: рядом с кинотеатром продавали кофе. Он ничего не ел со вчерашнего дня, но голода не испытывал. Правда, было бы неплохо выпить чашечку. Мануэль подошел к стойке и попросил

кофе, девушка подала. Трое рабочих, каменщики, судя по запыленной одежде и инструментам, тоже спросили кофе.

— Да, хороши у них делишки! — произнес один.

— Хуже некуда, — сказал другой, покачав головой.

— Революционеры держат их вот так, — рабочий сделал жест, словно поймал бейсбольный мяч.

— Ладно, поговорим о другом. Не хочу неприятностей, полицейские лютуют, что звери. Схватят, обрабатывают, а потом выяснят, что ты не виноват.

Он повернул голову в сторону Мануэля, который притворился, что занят своим кофе, хотя чашка была уже пустая и он прислушивался к разговору.

Получая сдачу, Мануэль уронил несколько монет. Можно было не подбирать их, но это могло показаться подозрительным. Едва он присел, согнув колени, его лицо исказила гримаса боли. К тому же он обнаружил, что правый носок намок от крови, которая стекала из раны тоненькой струйкой. Быстрым движением Мануэль вытер ногу штаниной, боясь, что кровь может капнуть на землю, и выпрямился, забыв о монетах. Снова лицо его исказилось от боли, и он схватился за стойку. Должно быть, вид у него был неважный, так как один из рабочих спросил:

— Что случилось, приятель? Вам плохо?

Мануэль отрицательно покачал головой и, еле превозмогая боль в правой ноге, поторопился отойти от стойки. Вслед ему крикнули:

— Эй, послушай! А деньги-то!

Но Мануэль не остановился. Да, глупо все случилось. А что было делать? Он потерял контроль над собой, увидев, что носок намок от крови.

* * *

Мануэль пересек улицу Галиапо и направился на площадь Вапор. Боль постепенно утихала, но он боялся, что кровь с ноги начнет стекать на ботинок. Этого только не хватало. Он то и дело оглядывался, чтобы убедиться, не стелется ли за ним кровавый след.

Мануэль остановился ненадолго на углу у входа в универсальный магазин «Сиарс», затем решил отдохнуть в парке Фратернидад. Нашел скамейку в безлюд-

ном месте под низко нависавшей ветвью сейбы и уселся. Сделав вид, что завязывает шнурок ботинка, он нагнулся и поднял штанину. С радостью убедился, что рана перестала кровоточить, кровь запеклась. По-видимому, когда он присел, рана открылась, но потом вновь затянулась. И все же стоило часок посидеть без движения, да и идти все равно было некуда. Осмотревшись по сторонам, он достал газету и сразу же взгляд его упал на сообщение об их акции, предельно короткое и настолько лживое, что Мануэлю пришла в голову мысль, что журналист, написавший его, никуда не выходил из своего кабинета. Впрочем, вполне возможно, составлял это сообщение не журналист, а чиновник правительственной Службы информации. Потеряв всякий интерес к этой писанине, он быстро пробежал остальные страницы и положил газету на скамью. Взгляд его задержался на входной двери универсама.

Люди сновали у магазинов, занятые своими повседневными делами, покупками, останавливались перед витринами, о чем-то говорили. Многие уже собирались завернуть в кафе или закусочную. Кричали уличные торговцы, служащий стоянки автомобилей показывал водителю, как поставить машину, и чувствовалось, что ему приятно заниматься блестящим «бьюиком» последней модели (обещавшим щедрые чаевые), а не какой-нибудь колывагой.

Автомобили непрерывно двигались в разных направлениях. Какая-то женщина с множеством свертков пыталась протиснуться в битком набитый автобус. Толстуха нищая не без хвастовства выставляла напоказ свою непомерно распухшую, гноющуюся ногу. Рядом с ней спал на земле пьяный бродяга. Детишки носились на деревянных лошадках и швыряли друг в друга камни. Одним словом, кругом кипела жизнь, как она кипела вчера, как будет кипеть завтра и вечно. Ничто не нарушало ее неизменного хода.

Он скривил губы в насмешливой улыбке. Глупцы, наивные мечтатели! Они думали потрясти страну. Но все осталось как и прежде. Разумеется, люди говорили о вчерашнем нападении молодых революционеров, но они говорили и о том, что наденут сегодня вечером, о болезнях детей или жаловались на растущую дороговизну. Он и его товарищи ожидали иного. Поглощенные

борьбой против режима, они мечтали о свержении Батисты, и все их помыслы, все выступления были направлены к этой главной цели. Им казалось, что все остальные, те, кого они называли народом, живут тем же. Это было их ошибкой. Они создали собственный, ограниченный мир, куда втиснули все шесть миллионов кубинцев. А оказалось, что подавляющее большинство продолжает жить своей привычной жизнью. Ведь эти люди не принимали активного участия в борьбе, как он и его друзья. Разве его собственная мать в эту минуту не стряпает на кухне, как и тысячи других женщин? В тот день, когда на борьбу поднимется весь народ, Батиста не удержится у власти и суток. Поэтому задача революционеров — своим примером, своими действиями привлекать к борьбе с каждым разом все больше и больше людей. В отрыве от народа ни их организация, ни какая-либо другая группа или партия не смогут совершить революцию. Только тогда, когда эти люди, что заполняли сейчас улицы города, включатся в активную борьбу, победа будет возможна. Пусть тщательно разрабатываются планы, предусматриваются мельчайшие детали, без участия народа не избежать провалов. Дело не в том, что они потерпели еще одно поражение, а в том, что и в этой их акции не приняли участия решающие силы, хотя бой был тяжелым и кровопролитным, многие товарищи погибли и пошли насмарку долгие месяцы подготовки. Больно было думать об этом, но революционер обязан объективно и тщательно анализировать происходящее, не давать волю чувствам. Путь революции не прямая асфальтированная дорога, а извилистая, ухабистая тропинка. Борьба подобна морю, которое то обрушивается на берег, то отступает. И для победы необходимо использовать его разрушительную силу — революционный народ. Мануэль понимал, что кажущееся легкомыслие и безразличие людей лишь прикрывает то глубокое течение, которое в определенный момент может вырваться на поверхность, обернуться всенародным восстанием.

Неправда, что эти люди безразличны. Стоит вспомнить рабочих, пивших вместе с ним кофе, водителя такси, который отвез его в Мантилью, и даже Рамона с женой. Все они были частицами этого глубинного течения. И заставить его бурлить, вырваться на поверх-

ность — вот главная задача революционеров. Акции вроде вчерашней, как бы печально они ни заканчивались, способствуют в определенной мере успеху революции. Но пока это течение пробивается к поверхности, им, профессиональным революционерам, приходится биться в одиночку. Или становиться беглецами. Как случилось с ним.

* * *

Мануэль выпрямился. Сколько времени он просидел на этой скамейке? Он посмотрел на солнце — часы разбились во время нападения, — наверное, сейчас часов десять или одиннадцать. Что делать? Куда идти? Надо поскорее уходить отсюда. Больше оставаться в парке нельзя, за ним могут следить. Он встал, осторожно огляделся — кажется, ничего опасного. Пьяница проснулся и яростно скреб голову, нищая исчезла.

Он вышел из парка, прошел Рейну и направился к соседней улице. Тут он заметил на углу человека, который смотрел на него и, когда Мануэль поравнялся с ним, улыбнулся. Мануэль попытался вспомнить, где он видел этого человека, но тщетно. Он его не знал и был уверен, что никогда с ним не встречался. Мануэль забеспокоился и, перейдя на другую сторону улицы, оглянулся: человек стоял на прежнем месте, смотрел на него и, кажется, улыбался. Мануэль пошел дальше, но, покосившись назад, увидел, что человек тоже собирается пересечь улицу. Встревоженный не на шутку, Мануэль пошел быстрее и, услышав приближавшиеся шаги, сунул руку под пиджак, где был револьвер. Теперь он не сомневался, что незнакомец шел за ним. Его шаги раздавались все ближе и ближе, по-видимому, расстояние между ними стремительно сокращалось. Еще несколько секунд, и незнакомец будет рядом. Побежать? Нет, этим он выдаст себя, да и с раненой ногой далеко не убежишь. Единственное, что он может сделать, если этот человек, без сомнения батистовский шпик, попытается задержать его, — это защищаться и дорого продать свою жизнь. Умереть сражаясь. Мануэль твердо решил не даваться живым, он знал, что такое попасть в лапы полиции. Лучше уж погибнуть в перестрелке...

Человек позвал:

— Сеньор!.. Сеньор!..

Но Мануэль не останавливался. Он делал вид, что не слышит, и продолжал идти все так же быстро. Наконец тот его нагнал.

— Сеньор!

Мануэль остановился, не снимая руки с рукоятки револьвера.

— Что вам надо? — спросил он сухо.

Человек радостно улыбнулся.

— Вы не из Камагуэя?

Мануэль смотрел на него, сбитый с толку.

— Не-е-е-т...

— Кажется, я ошибся. Я из Камагуэя, и мне показалось, что мы с вами знакомы. Всего неделя, как я в Гаване. Один сеньор обещал устроить меня на работу, но его не оказалось здесь — уехал в провинцию, а я истратил все деньги, почевать мне негде, и со вчерашнего утра ни крошки во рту...

Мелкий вымогатель! На душе у Мануэля сразу стало легко, так легко, что он поторопился вытащить из кармана песо и отдать мошеннику. От удивления у человека брови полезли вверх.

— Спасибо, сеньор... Большое спасибо... Большое спасибо... — он несколько раз поклонился.

Мануэль улыбнулся и пошел прочь, а незнакомец кричал ему вслед:

— Даст бог, когда-нибудь отплату вам за вашу доброту... Кто знает...

Обернувшись, Мануэль улыбнулся еще раз и уже неторопливо продолжал свой путь. На душе стало спокойно. Нервное напряжение спало, Мануэлю даже показалось, что он просто горожанин, вышедший погулять по парку Фратернидад в это солнечное утро.

Но он знал, что спокойствие это мимолетно. К тому же встреча с незнакомцем насторожила его. Нет, он не похож на простого горожанина — он беглец, за ним гонятся по пятам, и он не смеет забывать об этом ни на секунду, если хочет остаться в живых. И еще его жизнь зависела от того, найдет ли он себе убежище. Но где? Мануэль стал снова перебирать в уме друзей и знакомых, однако по тем или иным причинам ни на ком не мог остановиться. Наконец он вспомнил о двоюродном брате, живущем в Регле. Правда, они никогда не были близки, но, кто знает, вдруг он поможет? Фернандо был

неплохим человеком, не чуждался политики и в тех редких беседах, которые у них случались, высказывался как ярый противник Батисты. Кроме того, их связывали кровные узы. Словом, вполне вероятно, что Фернандо поможет ему. А почему бы и нет?

Он пересек улицу Монте и напротив магазина «Ла Сортиха» сел в автобус, идущий в район порта.

Катер уже собирался отвалить от причала, когда Мануэль прыгнул в него, едва не опоздав.

Свободных мест не было, поэтому он остался на палубе. Пожалуй, и к лучшему: он любил соленый ветер, дующий в лицо, любил разглядывать корабли, стоявшие на якорях, приземистые, с плоскими крышами домишки Реглы, мутную воду гаванской бухты. И всегда открывал для себя что-нибудь новое, прежде ему неизвестное, и тогда, как в детстве, ему казалось, что он пускается в какое-то приключение. Вот и сейчас река помогала ему справиться с нервами, забыть на время все волнения.

Катер подошел к берегу, и Мануэль спрыгнул на узкий причал, затем он вышел на площадь, мощенную камнем, и там остановился. Справа — бар «Мехико» с зелеными жалюзи над входной аркой, украшенной разноцветными фонариками. Прямо — улица, которая вела к центральной площади, а слева — церковь. Старинная церковь Реглы с чернокожей богородицей. Его двоюродный брат жил недалеко от бухты, на узенькой улочке, выходящей на маленькую площадь. Он забыл название этой улицы, но помнил старый дом с облупившимися стенами и деревянным балконом, который, к его удивлению, никак не обваливался.

Мануэль пересек площадь, пошел вниз по извилистой улице и довольно скоро вышел на маленькую площадь. Перед ним стоял дом с обветшалыми стенами и полуобвалившимся деревянным балконом, за которым начиналась улочка Ла Пьедра. Здесь и жил его брат, на этой самой улочке, совсем рядом. Но в каком доме? Он смотрел на стоявшие в ряд и очень похожие друг на друга домишки с побеленными стенами. Вот этот! Он был уверен, так как запомнил дверь, выкрашенную охрой. Мануэль быстро подошел к этой двери и постучал тихо, потом сильнее. Незнакомая молодая девушка открыла ему.

— Здравствуйте, — сказал Мануэль.

— Здравствуйте.

— Ферпандо дома?

Взгляд девушки выразил удивление.

— Какой Фернандо?

— Фернандо Акоста...

— Вы ошиблись, Фернандо Акоста здесь не живет.

Теперь Мануэль посмотрел на нее с удивлением. Отступив назад, он оглядел дом, неужели он ошибся? Нет, это тот самый дом, он был в этом уверен. Он снова обратился к девушке:

— У него молодая жена... Девчушка двух лет...

— Молодая жена? А, знаю. Да, они жили здесь, но уехали на другую квартиру.

Мануэль молчал, и девушка добавила:

— Месяцев шесть назад они переехали в Гуанабакоа.

Мануэль продолжал растерянно молчать. Вновь его охватило отчаяние: ничего у него не получается, все проваливается, что бы он ни задумал. И все же он не хотел признавать себя побежденным.

— Вы знаете, где они там поселились?

— Приблизительно. По-моему, за церковью Санто-Доминго, на улице Лебрель или что-то вроде этого... Я не очень уверена.

Мануэль поблагодарил и пошел назад к пристани, по дороге раздумывая, что ему делать. Поехать в Гуанабакоа и постараться найти Фернандо? Девушка смогла лишь приблизительно сказать, где он живет... Но попытка не пытка, надо попробовать. Все равно ему некуда идти, может, на этот раз повезет...

Остановка нужного ему автобуса № 29 была рядом с баром «Мехико». Мануэль поспел как раз к отправлению, водитель уже сигналил, торопя пассажиров, бежавших от причала. Мануэль сел поближе к выходу и попросил кондуктора остановить автобус у церкви Санто-Доминго, но тот ответил, что остановка не ближе чем кварталов за шесть или семь от этой церкви. Мануэль попросил предупредить его и повернулся к окну.

Осталось позади шоссе Виа Бланка. Вот Эль Которо и парк, куда приводила его мать, когда он был маленьким. Интересно, сохранился еще тот закрученный спиралью желоб, по которому он так боялся скользить?

Миновав несколько кварталов, автобус остановился, и кондуктор сказал, что Мануэлю пора выходить.

Оказавшись на улице, которая вела к церкви, Мануэль остановился около углового здания. Это был лицей. Несколько месяцев назад он приходил сюда. Здесь работал Октавио, состоящий в их организации, и они собирались в помещении, где — Мануэль хорошо это помнил — стояла трибуна, с которой выступал когда-то Хосе Марти. Эта случайность заставила его подробнее ознакомиться с деятельностью Марти в лицее. Он узнал, что здесь Марти читал лекции по литературе, которые вызвали волнения среди студентов, особенно та, на которой присутствовал генерал Бланко, губернатор Кубы.

Мануэль внимательно оглядел лицей: большой вестибюль, высокие окна, забранные тяжелой решеткой, балкон с простой металлической балюстрадой, опоясывающий второй этаж здания. По мере того как он продвигался вперед, ощущение, что он оказался в провинциальном городке, становилось все сильнее. Рядом с современным зданием из кирпича виднелась деревянная лачуга, а чуть поодаль — почерневшая черепичная крыша. О колониальных временах напоминали сводчатые окна с решетками и массивными подоконниками, на которые по вечерам усаживались девушки в кружевных платьях, ожидая, когда мимо пройдет любимый.

Неожиданно улица кончилась, и Мануэль уперся в церковь Санто-Доминго. Она стояла на холме, окруженная высокими темными стенами, с которых свешивались густые ветви манговых деревьев. А там, где улица расширялась, был разбит скверик с молодой скромной сейбой посередине.

Мануэль оглядел дома на другой стороне улицы. Возможно, в каком-то из них и жил его двоюродный брат. Надо было порасспросить, может, и повезет.

Он подошел к первому попавшемуся дому и позвонил. Открыл пожилой мужчина. Нет, он не знал семьи с ребенком, которая переехала сюда из Реглы, здесь уже много лет живут одни и те же люди, лет пять по крайней мере... А как называется улица? Лебрель? Такой улицы здесь нет, во всяком случае, он не знает улицы с таким названием, а он родился и вырос в Гуанабакоа.

Может быть, Дебрето? Тогда надо спуститься и перелезть, а затем повернуть за угол.

Мануэль пошел к церкви, украдкой заглядывая в открытые двери и окна, и, если замечал в комнате фотографии, старался их рассмотреть. Но это ничего не дало. Не доходя до угла, он наугад постучал в какую-то дверь и услышал то же самое: такой семьи не знают, но можно спросить в лавке, что на углу.

Лавочник вспомнил, что на улице Асунсьон живет семья, переехавшая из Реглы месяцев восемь или девять назад. Он пролез под прилавком, чтобы показать Мануэлю дом, выкрашенный в синий цвет.

Когда открылась дверь этого дома, усталое лицо Мануэля выразило разочарование. Перед ним стояла незнакомая женщина. Нет, никаких Акоста она не знает. Раньше она действительно жила в Регле, на улице Марти, она очень сожалеет... В голосе женщины звучало неподдельное сочувствие. Наверное, ее тронул подавленный вид Мануэля. А может быть, ему стоит сходить на улицу Лаурель, что в Корралито? Это недалеко отсюда, пять или шесть кварталов. Надо по улице Асунсьон дойти до остановки автобуса № 5, затем повернуть направо. Там начинается Корралито. Это небольшой район. Всего несколько кварталов. Если его родственники живут там, он быстро их найдет.

Мануэль поблагодарил ее. Уходя, он заметил, что женщина некоторое время наблюдала за ним, затем она вошла в дом. Мануэль остановился. В тысячный раз он спросил себя: что делать? Последовать совету женщины и отправиться в Корралито? Он не верил, что там ему повезет. И в то же время ему хотелось стучаться во все двери подряд. Подобно игроку, сделавшему ставку, Мануэль надеялся на счастливый случай.

Улица Асунсьон сначала подымалась в гору, потом спускалась вниз, и все же Мануэль быстро устал; когда он добрался до автобусной остановки, раненая нога опять разболелась. Мимо него торопливо шагали прохожие, что-то кричали друг другу, фыркали автобусы. Под цинковым навесом кафе, звеневшим от жужжанья мух, кишел человеческий муравейник. Мануэль подошел к водителю автобуса, стоявшему неподалеку от контрольных часов, которые показывали двадцать минут шестого, спросил, не знает ли он, где находится

улица Лаурель, и с удивлением услышал в ответ, что такой улицы не существует.

— Эта остановка называется Лос Лаурелес¹. Не знаю, какого дьявола ее так называли, здесь нет ни одного лаврового дерева. Наверное, когда-то они здесь росли, вот название и осталось.

— А где район Корралито?

— Здесь поблизости. Но и там нет улицы Лаурель. Есть Абраванхель, за ней Мангос, Лас Пальмас и Дель Рио... А Лаурель нет.

И все же Мануэль отправился в Корралито. Он шел по улице Абраванхель, застроенной небольшими современными коттеджами, выкрашенными в яркие цвета, с наружными галереями. Среди них высился трехэтажный многоквартирный дом. И правда, район оказался маленьким: сразу за ним начинались пустыри. Это понравилось Мануэлю. Тихая окраина — подходящее место, чтобы скрываться, но живет ли здесь Фернандо? Он решил не ходить по домам, а заглянуть в какое-нибудь местное заведение. Неподалеку оказалось кафе, он вошел, уселся на табурет перед стойкой и спросил чего-нибудь прохладительного. Расплачиваясь, Мануэль задал все тот же вопрос. Человек за стойкой поскреб затылок, пытаясь вспомнить, слышал ли он о семье с маленькой девочкой, переехавшей недавно из Реглы, и в конце концов признался:

— По правде говоря, не помню. А врать не хочу. Тебе, наверное, скажут в этом большом доме.

Мануэль, которому уже нечего было терять, позволил в первую попавшуюся дверь нижнего этажа, где под распятием было приклеено изображение святой девы Каридад дель Кобре, вырезанное из обложки журнала «Бозмия». Никто не открывал, и Мануэль заглянул в окно. На столе посередине комнаты стояла фотография необыкновенно красивой девушки. Но в комнате никого не было. Он пошел по боковой галерее и остановился у открытой двери, из которой неслись звуки радио. Постучал сильнее, и в дверях показалась смуглая женщина с черными густыми волосами. Никто сюда из Реглы не переезжал, ей это точно известно — она смотрит за порядком в этом доме, — вообще здесь не жи-

¹ Los laureles — лавровые деревья (исп.).

вет ни одной семьи, похожей на ту, которую ищет Мануэль.

Новая неудача не обескуражила Мануэля. Он вернулся к коттеджам и вдруг обнаружил, что некоторые из них имеют названия: «Эдельмира», «Марта и Хорхе», «Хулия»... Хулия! Это же имя жены Фернандо! Неужели они здесь живут? Пройдя через калитку, он поднялся на веранду и нажал на кнопку звонка. Хулия открыла ему дверь, но это была другая Хулия. Пришлось извиниться и уйти.

Выйдя к пустырю, он повернул направо и пошел по следующей улице. Мануэль заходил почти во все дома, но счастье не улыбнулось ему. Игра окончилась, и он опять проиграл. Снова его охватила горечь поражения, и не потому, что он устал и его доконали бесплодные долгие поиски, — в нем самом будто что-то сломалось. Пока он разыскивал дом Фернандо, у него не было времени для тяжелых раздумий, и потом, оставалась надежда.

А сейчас, когда Мануэль потерпел еще одну неудачу, он опять почувствовал себя одиноким, чужим всему, что его окружало.

Уже смеркалось, Мануэль медленно возвращался на автобусную остановку. Обрато он ехал другой дорогой — по шоссе, проходящему через Кохимар.

* * *

В Гавану он не вернулся, сошел с автобуса на центральной площади в Гуанабакоа. Поужинал в ресторанчике, который заметил из окна автобуса, в самом дальнем зале под наклонной деревянной крышей.

Поужинав, он постоял некоторое время перед афишами кинотеатра, скрытого за арками в ложномавританском стиле, но в кино не пошел, а направился к центральной площади, где решил дожидаться более позднего часа. Потом он пойдет к Октавио и попросит разрешения переночевать в лицее. Было не более половины девятого, и он не хотел появляться в лицее так рано, когда там еще довольно многолюдно. Лучше подождать.

Со вздохом облегчения он опустился на скамью в парке и вытянул раненую ногу. Бедро, кажется, рас-

пухло, рана горела. Он слишком понадеялся на свои силы, проведя целый день на ногах. И ради чего? Ничто не изменилось со вчерашнего вечера, когда он ушел из дома Ортеги.

На площади и на прилегающих к ней улицах царило оживление, как в праздничные дни. Было приятно наблюдать за гуляющей молодежью, слышать шутки, которыми перебрасывались юноши и девушки, смотреть на влюбленные парочки. Молодежь собиралась под сводами пассажа на главной улице, откуда доносились смех и разговоры. Юноши преследовали девушек, которые порхали веселыми стайками от одной сверкающей витрины к другой, будто рой ночных бабочек, привлеченных светом.

Мануэль подумал, что, наверное, было какое-то колдовское очарование в этой ночи, которое заставило людей выйти на улицы. Очарование исходило от пурпурных цветов на фламбойянах, старой церкви с позеленевшей от плесени крышей и высокой колокольной и даже от здания аюнтамьенто, которому светящийся посредине фасада циферблат придавал сходство с циклопом.

Часы аюнтамьенто пробили десять, когда Мануэль встал и направился в лицей.

Привратник, низенький негр, прищурив свои глазки за очками в позолоченной оправе, сообщил, что Октавио нет. А когда Мануэль сказал, что подождет, привратник пожал плечами: он может ждать, если хочет, но, судя по всему, Октавио не придет. Вот уже несколько дней, как он не появляется в лицее.

Мануэль прошел в глубь холла, где стоял бильярдный стол и несколько столов для игры в домино. Сел в углу, откуда был виден вход, и стал наблюдать за игроками в бильярд. Игра была интересной. Мануэль когда-то сам неплохо играл, почти каждый день после занятий он ходил с товарищами в маленькую бильярдную напротив трамвайной остановки. Иногда даже они пропускали занятия.

Когда они там появлялись, хозяин, долговязый, с подагрическими руками мулат, хватался за голову: он знал, что деньги, оставленные ими, будут лишь слабой компенсацией тех дьявольских проделок, которыми сопровождался каждый их приход.

Через час привратник стал закрывать окна, посети-

тели начали расходиться. А Октавио все нет! Игроки поставили кии и вышли на улицу. Мануэль тоже встал, стараясь найти предлог, чтобы задержаться. Когда в холле осталось человек пять, привратник подошел к Мануэлю.

— Я ведь сказал вам, что Октавио, судя по всему, не придет.

Мануэль кивнул. Он посмотрел на привратника невидящим взглядом и выпалил:

— Мне необходимо поговорить с вами.

— Если угодно... — нехотя ответил привратник.

— Нет, нет, не сейчас. Когда все уйдут. Нас никто не должен слышать.

Минут через пять холл опустел.

— Итак, вы хотели поговорить со мной? — обратился к нему привратник.

Мануэль был готов довериться этому негру, считая, что только тогда он разрешит ему остаться. Любой вымышленный предлог мог испортить все дело. Не хотелось и здесь потерпеть неудачу. Мысль о том, что ему придется вновь бесцельно бродить по городу, пугала Мануэля больше, чем возможность быть выданным полиции. Когда живешь, подвергаясь постоянному риску, привыкаешь узнавать людей по лицам — этот человек не походил на доносчика. Больше всего Мануэль боялся, что привратник испугается приютить его, и старался всячески подчеркнуть безвыходность своего положения:

— Не стану вас обманывать. Я революционер, и меня преследует полиция.

Он подождал реакции привратника, но тот молчал, и Мануэль снова заговорил:

— Целый день я искал, где бы мне укрыться, и все безрезультатно. Я пришел попросить у Октавио разрешения провести ночь в лицее.

Он снова замолчал, на этот раз привратник, кажется, понял, чего от него хочет Мануэль. Тогда он добавил уже напрямик:

— Разрешите мне остаться здесь. Только на эту ночь.

Привратник опустил глаза и нерешительно покачал головой.

— То, о чем вы просите... может иметь страшные последствия, — ответил он запинаясь.

— Почему?

— Потому что я становлюсь вашим сообщником. А я только привратник и не имею права разрешать кому-либо оставаться в лицее на ночь. Если дойдет до директора, меня могут уволить.

— Он ничего не узнает. Если, конечно, вы сами не расскажете, никто ничего не узнает. Только вы да я будем знать...

— Да, но...

— Если вы мне не верите, поговорите с Октавио. Он меня знает...

— Он тоже революционер, как и вы...

— Вы что, знали об этом?

— Конечно, знал. Здесь все всё знают. Поэтому я и сказал, что он вряд ли придет. Уже три недели, как он скрывается от полиции.

— Его преследуют? — дрогнувшим голосом спросил Мануэль.

— Да, но сюда они не приходили. Они понимают, что Октавио не такой дурак, чтобы прятаться в лицее, где его каждая собака знает.

— Итак, что вы скажете?

Привратник вновь покачал головой.

— Я догадался, что вы в чем-то замешаны. Я это понял сразу же, как вы вошли и спросили про Октавио. Потом я за вами наблюдал, и за километр было видно, что с вами что-то неладное.

— Трудно владеть собой, когда оказываешься в моем положении.

— Конечно, конечно, разумеется... Пойдемте со мной.

Он повел Мануэля по узкой лестнице в глубине биллиардного зала и, пока они поднимались, говорил:

— Не думайте, что мне впервые прятать здесь кого-то. Во времена правления Мачадо здесь укрывались революционеры из организации АБЦ. После они все заняли важные посты. Но когда забрались наверх, про меня позабыли.

— Обещаю, что я не забуду. — Мануэль тут же пожалел о своих словах: заговорил будто политикан какой-то. Ведь он совсем другое хотел сказать.

— Я это только так, к слову, для меня это не имеет никакого значения, — сказал привратник. — Я не стрем-

люсь к какой-нибудь должности. Вот уже тридцать лет работаю в лицее, думаю и остаться здесь до конца.

На втором этаже был небольшой зрительный зал. Достав связку ключей, привратник открыл боковую дверь, ведущую на сцену.

— Можете здесь спать,— сказал он Мануэлю.

Это была артистическая уборная: зеркало на стене, два или три стула, портрет обнаженной женщины, писанный маслом.

— К сожалению, нет даже койки...

— Не беспокойтесь.

— Но вы можете постелить эти костюмы вместо тюфяка.

Он помог Мануэлю.

— Туалет рядом.— Оглядевшись, он добавил: — Хотя это и не гостиница, но провести ночь...

— Все очень хорошо. Если бы вы знали, как я вам благодарен.

— Не стоит. Другой на моем месте поступил бы так же. Но завтра утром вы должны уйти пораньше. Я не хочу, чтобы кто-нибудь вас видел.

— Не беспокойтесь. Как только рассветет, я уйду.

— Нет, пока я не приду, не уходите. Я приду около шести и вас выведу.

— Ладно.

Привратник погасил свет везде, кроме артистической уборной. Затем сошел вниз, но не по той лестнице, по которой они поднялись, а по широкой, мраморной, находившейся в другой стороне от сцены. Когда он скрылся из виду, Мануэлю вспомнилась фраза, кажется, из какой-то пьесы: «Я всегда верю в порядочность незнакомых людей».

* * *

Не погасив света, Мануэль уселся на разложенные на полу костюмы, осмотрел рану. Она уже не кровоточила, немного затянулась, но была почему-то черной. «Наверное, заражение»,— подумал он. Оторвал рукава от рубашки, чтобы забинтовать рану. «Так больше нельзя, надо показаться врачу». Потом он пошел в зал, походил там немного, остановился у окна и сквозь жалюзи посмотрел на улицу: ни души, фонарь на углу,

раскачиваясь от ветра, отбрасывает желтый свет. Мануэль пошел дальше и в одном из помещений увидел трибуну, с которой выступал Хосе Марти, слабо освещенную проникавшим с улицы светом. Он приблизился к трибуне, возвышавшейся перед широким и длинным столом, вокруг которого стояли обтянутые кожей стулья. Трибуна была восьмигранной формы и напоминала Мануэлю осьминога. Вот на этот край опирались руки Марти в тот памятный вечер, когда генерал Бланко вскочил вне себя от злости и закричал: «Я хотел бы забыть то, что услышал сейчас... По-моему, этот Марти безумец, но безумец опасный»... Что же такое сказал Марти, если представитель испанского правительства так разъярился? Мануэль пытался найти эту речь Марти, но безуспешно. Удалось только выяснить, что она была посвящена кубинскому скрипачу Диасу Альбертини и что Марти воспользовался случаем, чтобы вновь обратиться к патриотическим чувствам кубинцев. Нетрудно было представить, что скрывалось за его иносказаниями.

А сейчас Мануэль стоял в этом самом зале у этой трибуны. И ему казалось, что сквозь проступившие слезы он видит живого Марти. Не героя, которого знал по учебникам, и не каменное изваяние на городской площади. На трибуне стоял человек из плоти и крови, такой же, как Мануэль, он тоже когда-то был одиноким, его тоже преследовали, и, быть может, чтобы обрести мужество и силу, он тоже вспоминал однажды о своем великом предшественнике.

Колени Мануэля подогнулись, он опустился на пол, голова упала на грудь. И, словно кровь по капле, из самого сердца вылились слова:

«Для меня понятие родины никогда не будет связано с торжеством, но с долгом и страданием... Я подниму весь народ. Но мое единственное желание — остаться там, слиться с последним деревцем, последним воином. И так умереть молча. Мой час уже настал».

Эти слова он написал перед тем, как отправиться на Кубу, где разгоралась война, к которой он призывал. И он готовился умереть молча, придать смерти «гуманный, возвышенный смысл». Спустя некоторое время он высадится на Кубе у Плайитас. И низкорослый, и физически слабый, никогда в своей жизни не воевав,

закинет за спину вещевой мешок в двадцать килограммов, за плечо — ружье, пристегнет к поясу мачете и револьвер и отправится в путь; он будет шагать по тринадцать часов в день, по горам и ущельям, переходить вброд реки и ночевать под «ласковыми звездами».

Предчувствие смерти оставит его, едва он сольется с природой и ощутит ее безмерность, не стыдясь больше оков своей родины вплоть до самого конца.

«Счастье мое безмерно... Божественная чистота души облегчает страдания тела. Этот благодатный покой помогает людям бестрепетно и радостно идти на смерть».

Вокруг него высятся деревья «с прекрасными цветами, излюбленными пчелами, они напоминают гирлянды в густой листве», днем светит «сладостное солнце», а ночью «струится музыка, ее звуки переплетаются, расправляют крылья и замирают, дрожат и уносятся ввысь, мимолетные и еле слышные».

С Максимо Гомесом они несутся по горным склонам, и Хосе Марти смеется: «До сих пор я не чувствовал себя человеком». Сейчас он чувствует себя им вполне. «Почему у меня не вызывает ужаса ни лужа крови, которую я увидел на дороге, ни перестрелка партизан Руэпеса с правительственным патрулем из Гуантанамо, преследующим их?»

Он лечит раненых чудодейственным йодом, который носит в вещевом мешке, и «лаской — другим чудом». Ласка, которую он раздает и получает от самых униженных, — утешение для партизан: «Приходите и оставьте свои тревоги, здесь вы должны о них забыть». Старый негр Луис Гонсалес обнимает его: «Пусть он возвысит меня в своих объятиях». Горячо аплодируют босые солдаты, когда он выступает перед ними. «Это доктор Марти! Президент!» По Гомесу не нравится, что Марти так называют: «Потому что с президентами всегда случается что-то странное — едва они приходят к власти, все проваливается. Называйте его Генералом. Он приехал сюда как Генерал».

Нет, он приехал как представитель Революционной партии. Было это 14 апреля. Гомес, Анхель Герра и другие военачальники собрались на совет. «Подождите здесь». Марти ждал недовольный. «Наверное, не мо-

гут договориться». Через некоторое время появился сияющий от радости Анхель Герра: на совете решили присвоить Хосе Марти звание генерал-майора Освободительной армии. Они обнялись с Максимо Гомесом и остались вместе до конца.

Уже после Мехораны, «когда все улеглись спать, охваченные грустью», а он размышлял о «гнусных и низменных страстях человеческих», старое предчувствие вновь овладело им. Быть может, он думал о письме, которое написал своей матери перед отплытием из Санто-Доминго: «Безумно любя меня, вы скорбите о том, что я приношу в жертву свою жизнь. Но почему вы произвели меня на свет с душой, стремящейся к жертвам?»

Он слишком хорошо знал, что такое человеческие страсти, и поэтому не умел противостоять им. Путь революции не похож на тщательно подстриженный газон. А революция была для него главным. Он пришел в нее, чтобы «начать энергичную и благородную войну и помешать попыткам предотвратить эту войну разного рода обещаниями». У него достало мужества совершить это, а если доставало порой, он знал, как добыть его из своего могучего сердца. От него не укрылось, что дух, который ему удалось вселить в революцию, как и «единство действий революционных сил и духа, который их вдохновлял», постепенно исчезают. Вновь соединить их ради скорейшей победы и «путем прекрасной победы ради прекрасного мира» — вот что было его главной задачей, так же как и «заставить сражаться бездействующую революционную армию».

«Мы считаем, что необходимо активно преследовать врага, выманивать его из городов, наносить ему удары на открытых пространствах, лишать его источников снабжения, уничтожать конвои».

На рассвете идет проливной дождь, и Марти, сидя в ветхом ранчо за столом, сооруженным из ствола пальмы, энергично составляет циркуляры, письма командирам отрядов, генералу Масо, который все оттягивает их встречу, самому Масео, которого торопит «сесть на коня и голосом зажечь сердца людей». Раньше, когда его родина не была свободной, он спал пять часов, сейчас, когда наступил час ее освобождения, он спит два.

Его рана все еще не затянулась: «Пишу мало и плохо, потому что меня одолевают мрачные и тревожные мысли». Другая рана, полученная в тюрьме, в совсем недалекой юности, тоже не затянулась, наоборот, вповь открылась. И именно эта рана удерживает его в лагере Биха, когда Гомес во главе сорока всадников отправляется преградить путь колонне Сапдовалья у Дос Риоса. Ему это не сразу удастся. Совет военачальников решил, что Марти должен немедленно вернуться в Соединенные Штаты, а он не хочет оставить Кубу, не побывав в сражении. Его час настал. «Вы останетесь с Масо»,— приказывает Гомес, но он просит пистолет у своего адъютанта Анхеля де ла Гуардиа, прищипоривает копы и приказывает адъютанту ехать следом. Его час настал. Скачут быстрые кони под ярким солнцем навстречу пулям. Его час настал. Раздается залп, и они падают с лошадей. Когда Анхель поднимается, Марти лежит в нескольких шагах от него с окровавленной грудью.

За два дня до этого он писал:

«Каждый день я подвергаюсь опасности умереть за свою родину,— я это понимаю, и у меня хватит мужества на это,— но я исполню свой долг, и свободная Куба не допустит расширения владений Соединенных Штатов на Антильских островах и захвата ими наших американских земель. Все, что я делал до сих пор и буду делать впредь, подчинено этой задаче. Я был вынужден действовать окольными путями, ибо некоторых целей можно добиться, лишь действуя с осторожностью, преждевременная гласность неизбежно вызовет труднопреодолимые препятствия на пути к их достижению. Я жил в чреве дракона и знаю его: моя праща — праща Давида».

Когда Мануэль поднялся, уже светало. Он вошел в артистическую уборную, потушил свет и повалился на пол, но уснуть долго не мог.

* * *

Сквозь сон он услышал, как хлопнула входная дверь. Было еще очень рано, и Мануэль подумал, что это, наверное, привратник, но все же встал и с револьвером в руке прислушался. В глубине здания разда-

лись шаги, которые все приближались, наконец в дверь постучали.

— Вставайте, приятель! Вставайте! Пора! — Это был голос привратника.

Мануэль открыл дверь не сразу. Он протирает глаза, будто только что проснулся.

— Мне очень жаль будить вас, но уже почти шесть часов, и лучше будет, если вы сейчас уйдете... Как спалось?

Мануэль ответил, что хорошо, умылся, вытерся платком и объявил привратнику, что готов. По парадной лестнице они спустились вниз, но привратник повел его к двери, выходящей в переулок, там он взял метлу и торопливо шепнул:

— Подождите минутку.

Он вышел на улицу, а Мануэль, оставшись за дверью, наблюдал за ним в щель: делая вид, что метет, привратник внимательно посматривал по сторонам. Дождавшись, когда скрылся из виду прохожий, он громко крикнул Мануэлю:

— Выходите!

Едва Мануэль перешагнул порог, ему в лицо дохнула утренняя свежесть. Надо было бы поблагодарить привратника, но тот не смотрел на Мануэля и продолжал лихорадочно подметать тротуар. Заметив, что Мануэль приближается, он быстро зашептал:

— Уходите! Сейчас же уходите! Немедленно!

Мануэль ушел не оборачиваясь.

И вот он вновь на набережной Гаваны, у причала, а в голове все та же мысль: «Куда идти?» Нога болела, и, дойдя до Аламеда де Паула, он повалился на скамейку, разбитый, словно после марафонского бега. Боль и отчаяние терзали его, и Мануэль крепко сжал лицо ладонями, будто хотел прогнать из головы все мысли. На какое-то мгновение ему показалось, что это удалось, он почувствовал себя немного лучше, нервы успокоились. И вдруг он снова вспомнил Ирен... Это сразу же вернуло его к действительности.

Он отнял руки от лица и выпрямился: прочь все сомнения, он пойдет к Ирен. Он уже не думал о том, что ее родители будут против. Ведь должен кто-то ему помочь, должен кто-то приютить его. В конце концов, большего он не требовал.

Сначала надо позвонить ей по телефону — предупредить о своем приходе, а заодно выяснить, не возникло ли каких-нибудь затруднений. Он не помнил номера телефона Ирен, но надеялся найти его в справочнике.

Разыскивая автомат, Мануэль думал, что ему может ответить Ирен. В какой-то лавке он обнаружил телефонный справочник... Он будет очень краток: «Это я, Мануэль. Еду к тебе». Этого вполне достаточно — она все поймет... Вот ее фамилия и адрес, а вот телефон... Кровь прилила к его лицу, когда в трубке раздались длинные сигналы, а затем женский голос произнес: «Слушаю».

— Ирен?.. — пробормотал он, чувствуя, что сердце замерло.

— Да, это я. Кто говорит?

У Мануэля словно язык отнялся, губы дрожали, дыхание перехватило.

— Кто говорит? — снова спросила Ирен.

— Я...

— Кто «я»?

— Мануэль...

Ирен приглушенно вскрикнула:

— Мануэль! Где ты?

— Здесь, в Гаване... недалеко от порта... Ирен, я...

— Больше ничего не говори. Сейчас же приезжай ко мне, буду ждать у дома.

Когда он подъехал в такси, она уже стояла там и пошла ему навстречу. Ее лицо было тревожно, каштановые волосы свободно падали на плечи. Ирен остановилась рядом с Мануэлем, едва сдерживая желание броситься ему в объятия. Он тоже хотел бы обнять ее, но лишь ласково смотрел на девушку. Ирен протянула ему руку, и Мануэль долго не отпускал ее... С трудом отведя взгляд от Мануэля, Ирен сказала:

— Пойдем пройдемся.

Они пошли по направлению к набережной. Ирен взяла его под руку и, заметив, что он хромает, спросила:

— Что с тобой?

— Я ранен в бедро.

— Сейчас же идем ко мне.

— А твои родители?

— Папа на службе, а мама... За нее не беспокойся. Идем.

Когда поднимались по лестнице, Ирен велела, чтобы он на нее опирался. Войдя в квартиру, она повела Мануэля в свою комнату, и мать, стоявшая в гостиной, онемела от изумления, увидев, как ее дочь ведет к себе какого-то мужчину. Мануэль тоже не произнес ни слова. Ирен уложила его на свою кровать и попросила показать ей рану. Потом она сходила за бинтом и горячей водой, и Мануэль услышал, как она разговаривает с матерью, тихо, но взволнованно. Вскоре Ирен вернулась с тазиком теплой воды, бинтом и дезинфицирующим средством. Мануэль старался заглянуть ей в глаза, но она избегала его взгляда. Усевшись на край кровати, Ирен начала промывать рану.

— Тебя обязательно должен посмотреть врач. Постараюсь вечером привести его.

— Что сказала твоя мать?

— Ничего, не придавай этому значения. Все уладится.

— Мне не хотелось бы доставлять тебе неприятности. Скажи матери, что я очень сожалею, но у меня безвыходное положение. Скажи ей, что я уйду...

— Я сама знаю, что сказать матери. Предоставь мне самой решать это. Больно?

— Что это такое?

— Дезинфицирующее средство.

— Мне кажется, что ты меня ласкаешь.

Оба улыбнулись.

— Где ты был? — наконец спросила она.

Он ей рассказал коротко и небрежно, будто речь шла о прогулке по городу, боясь излишней драматизации, чтобы не вызвать к себе ненавистного ему сострадания. Особенно его страшило сострадание Ирен.

— Я испугалась, когда узнала о штурме. Ужасно испугалась, а вдруг тебя убили...

— Ирен... — сказал он нежно.

— Ах, Мануэль!

Она бросилась ему на грудь. Он гладил ее волосы, а затем, взяв в руки ее лицо, грустно улыбнулся и поцеловал. Ирен ответила долгим поцелуем... Потом они молча смотрели друг на друга.

— Тебе страшно?

— Нет.

— Ты выглядишь очень утомленным. Тебе надо выспаться.

— Хорошо, я усну. Только скажи, ты видела кого-нибудь из организации?

— Нет.

— Мне необходимо связаться с ними, чтобы они нашли квартиру, где я мог бы спрятаться.

— Тебе не нравится моя квартира?

— Не в этом дело, Ирен. У тебя я могу пробыть несколько дней, не больше. Я не хочу и не смею подвергать твою семью опасности. Все, кто остался в живых после штурма, должны на какое-то время скрыться. Понимаешь?

Ирен утвердительно кивнула.

— Много вас погибло? — спросила она.

— Не знаю. Наверное. Я видел, как товарищи падали, но не знаю, сколько умерло. Когда участвуешь в таком деле, трудно понять, что происходит вокруг. Все как во сне, как в каком-то кошмаре.

— Как же ты уцелел?

— Не знаю. Я вдруг очутился на улице, бежал по бульвару, меня догнал Антонио. Он был ранен в грудь, и я его отвел к Ортеге, но сам у него не остался, считал, что хватит с него и одного Антонио. Потом я направился в Мантилью, в церковь...

— Ты правильно поступил, что не остался у Ортеги.

— Почему?

— Если бы ты там остался, тебя прикончили бы.

— Что ты говоришь?! — Мануэль приподнялся на локтях.

— Антонио убили, — ответила она, отведя взгляд. — Вчера вечером полиция нагрянула на квартиру Ортеги...

— Откуда ты знаешь?

— Из газет...

Мануэль упал на подушку.

— Погибли наши лучшие ребята, — проговорил он после паузы.

— Это была очень рискованная акция.

— Мы ее готовили довольно тщательно в течение нескольких месяцев. Но потерпели неудачу.

— Может, надо было подождать?

— Нет. Мы поступили правильно.

— Но это стоило стольких жизней...

— Мы знали, что будут жертвы, и все же готовились к бою. Если бы мы победили, многие из тех, кто погиб, остались бы живы. Мы хотели бы избежать кровопролития, но борьбу надо продолжать. Это как камень, который катится по склону горы, увлекая за собой другие камни, и не остановится, пока не достигнет подножья.

— Но вы потерпели поражение, Мануэль.

— Неважно.

— Практически организации больше не существует...

— Мы начнем постепенно ее восстанавливать. Это будет нелегко, но, если мы проявим настойчивость, добьемся успеха. Новые бойцы займут место погибших. Павшие помогут нам.

— Ты не представляешь себе реальной обстановки, Мануэль. Сейчас вас преследуют, как никогда. Батиста совсем озверел, он беспощаден и не успокоится, пока не уничтожит всех, кто принимал участие в штурме.

— Это потому, что им владеет страх. Но своего он не добьется, всех ему уничтожить не под силу. Это никому не под силу.

— А ты, Мануэль?

— Что я?

— Ты не боишься?

— Боюсь,— ответил он спокойно.

— А говоришь так, будто ничего не боишься.

— Нет, я боюсь. Но не это главное. Мы все боимся, и тому, кто кажется отчаянным храбрецом, знакомо чувство страха. Но даже если ты боишься, ты должен действовать, словно страх тебе неведом. Это и называется мужеством. Послушай меня, Ирен, тот, кто никогда не принимал участия в бою, не помышляет о смерти. Он думает, что может умереть кто-то другой, только не он. Но когда его ранят, он начинает понимать, что тоже уязвим. Только ранение помогает расстаться с этой иллюзией. Я и раньше участвовал в схватках, но никогда не бывал ранен...

Он замолчал, однако Ирен продолжала выжидающе на него смотреть. Мануэль попытался улыбнуться.

— Теперь я знаю, что меня тоже могут убить...

— Перестань...

— Но я также знаю, что все, что я собираюсь сделать, уже делали до меня другие. И если они смогли это сделать, сделаю и я.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, мне страшно за тебя.

— Извини, я не хотел тебя пугать.— Он снова взял ее руку.

— А сейчас поспи. Тебе надо отдохнуть.

— Хорошо,— ответил он слабым голосом.

— Посмотрим, сумею ли я сегодня разыскать врача.

Она встала, и Мануэль выпустил ее руку.

— Постарайся связаться с кем-нибудь из организации. Многих полиция еще не знает.

— В том числе и меня,— отрывисто сказала Ирен.

— Я не хочу, чтобы ты подвергалась опасности.

— Какой опасности? Мой дом не взят под наблюдение.

— Я не могу долго оставаться здесь. Постарайся найти кого-нибудь из организации...

— Хорошо, хорошо. Я все сделаю.

— Не сердись...

— Я не сержусь.

— Тогда поцелуй меня...

Ирен улыбнулась, поцеловала его в губы. Затем собрала все, что принесла с собой, сказала ему: «Спи» — и вышла. Но Мануэль и не пытался уснуть. Он разглядывал комнату: туалетный столик, за которым Ирен, должно быть, расчесывает свои прекрасные волосы или красит губы грациозным движением, присущим лишь женщинам, ее платяной шкаф, халат, небрежно брошенный на стул, домашние туфли, пышные занавеси на окне, которые наверняка она сама вешала. И кровать, где он лежал, была ее, она на ней спала... Он ласково погладил рукой одеяло и подумал, что, если они когда-нибудь станут мужем и женой, у них будет точно такая комната.

* * *

Мягкий свет лился сквозь жалюзи. Мануэль заморгал, открыл глаза, затем привстал и с тревогой огляделся вокруг, постепенно вспоминая события послед-

них дней; наконец он успокоился. Хотя было не очень жарко, он весь вспотел. Поднялся с кровати, подошел к окну, сквозь щели в жалюзи виднелись какие-то задворки и веранды соседних домов. По рассеянному свету в комнате он не мог понять, который час, и не помнил, какой сегодня день.

Мануэль прошелся по комнате в поисках часов. Часов он не обнаружил, но обратил внимание, что рана болит меньше. Вдруг раздался легкий скрип, и, обернувшись, Мануэль увидел, как дверная ручка медленно поворачивается. Он схватился за пояс, револьвера не было, Мануэль бросился к постели в надежде, что он там, но вошла Ирен.

— А, ты уже проснулся! Что с тобой? — спросила она, заметив бледное лицо Мануэля.

Мануэль, схватившись за голову, рухнул на кровать.

— Ничего... Который час?

— Половина седьмого.

— А день какой?

Она с удивлением посмотрела на него и улыбнулась:

— Сегодняшний... Ты спал с одиннадцати утра. Хорошо спалось?

— Да.

— Не хочешь принять душ и побриться? В ванной все приготовлено, я тебе купила пижаму...

— Ты выходила сегодня?

— Искала врача. Придет, как только закончит прием в клинике.

— Кто он такой?

— Не беспокойся, свой человек.

— Нашла кого-нибудь из организации?

Ирен опустила глаза.

— Нет. Еще не успела...

— Ты обязательно должна это сделать, Ирен. Это очень важно для меня.

— Хорошо. Постараюсь связаться с Луисом.

— С тем, что служит в министерстве общественных работ?

— Да.

— Хорошо. Ему можно довериться, к тому же его еще не подцепила на крючок полиция.

— Ладно, ты мойся, а я пойду приготовлю тебе поесть.

— Напрасно ты беспокоишься, я не голоден. Немного кофе, больше мне ничего не надо.

— Ты должен поесть как следует. Как твоя рана?

— Лучше. Уже не так болит.

— Старайся не вставать, лежи как можно больше.

Мануэль с улыбкой кивнул, и Ирен пошла к дверям, но Мануэль остановил ее.

— Ирен!

— Что?

— Мой револьвер...

— Я спрятала его. Отдать?

— Нет, нет. Все в порядке.

Мануэль принял душ, побрился, надел пижаму, купленную Ирен, с удовольствием вдыхая запах новой материи. И снова лег, чувствуя себя другим человеком, счастливым и отдохнувшим. Казалось невероятным, что всего за несколько часов его положение так резко изменилось. Вскоре Ирен привела врача, который обработал рану, сказав, что она не глубокая, и велел не двигаться. Он ушел, пообещав прийти на следующий день.

Ирен проводила врача, а затем вернулась с подносом, на котором стояла еда для Мануэля.

Она поставила поднос на столик рядом с кроватью, а сама села в ногах у Мануэля. Заметив ее пристальный взгляд, он спросил, что с ней.

— Ничего,— Ирен попыталась улыбнуться,— ешь, ешь...

Но Мануэль понимал, что что-то случилось.

— Можно войти? — В дверях стоял пожилой мужчина. Он был среднего роста, с седыми висками и чем-то похож на Ирен.

— Нет, папа, сейчас нельзя,— Ирен быстро пошла ему навстречу.

— Почему? Чем раньше мы поговорим, тем лучше.— Он обратился к Мануэлю.— Я отец Ирен, могли бы мы с вами поговорить?

— Разумеется... проходите,— пробормотал Мануэль.

Подойдя к Мануэлю, отец Ирен протянул руку.

— Очень приятно...

Мануэль пожал его руку, и, взяв стул, он уселся рядом с Мануэлем. Он казался расстроенным и подавленным. Ирен подошла к ним.

— Я предпочел бы, чтобы мы беседовали с глазу на глаз.

— А я предпочитаю остаться здесь,— вызывающе сказала Ирен.

— Хорошо, оставайся, не будем спорить.— Он повернулся к Мануэлю: — Моя дочь рассказала мне о вас...

Мануэль, казалось, не сводил с него взгляда, на самом же деле он смотрел на Ирен, сидевшую рядом с отцом в напряженной позе.

— Я не против, что Ирен привела вас сюда. Думаю, она поступила правильно. И, разумеется, гуманно. Но...— он запнулся.— Но вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, как обстоят дела. Я симпатизирую вам, восхищаюсь вашим мужеством и всем тем, что вы совершили... Однако я предпочитаю не вмешиваться в политику. И никогда не вмешивался, даже в молодости, я всегда работал, только работал, и я не могу ставить на карту покой и благополучие моей семьи.

— Ты говоришь как законченный трус, папа...

— Ирен!

— Мне стыдно за тебя.

— Но, Ирен,— вмешался Мануэль,— твой отец прав. Все, что он говорит, очень логично.

— Это логика страха.

— Не у всех нас в жилах течет кровь героя.

— Но не обязательно труса, как в твоих. Интересно, чем тебе может навредить Мануэль, если останется здесь?

— А если в один прекрасный день полиция пронюхает, что он прячется в нашем доме...

— Как она об этом пронюхает? Как?..

— Не знаю. У них повсюду шпионы...

— Не шпионы делают полицию сильной, а страх таких, как ты.

Она наклонилась к отцу, придерживая дрожащей рукой волосы, которые падали на лицо. Мануэль взял ее руку.

— Успокойся, Ирен, ты не должна осуждать отца так сурово, просто у него другие взгляды. Я его пони-

маю, он имеет полное право предложить мне покинуть ваш дом.

— Пока я в этом доме, ты никуда не уйдешь. И если отец хочет выгнать тебя, ему придется выгнать нас обоих.

— Ты меня не поняла,— возразил отец,— я не думаю его выгонять и не прошу, чтобы он ушел сейчас же. На такое я не способен, но через несколько дней, когда ему станет лучше...

— Даю вам слово, что через день или два я уйду...

Ирен опустила на край кровати и с силой сжала руки Мануэля.

— Нет, Мануэль, ты не должен уходить отсюда. Не слушай отца, он не осмелится тебя выгнать...

— Успокойся, Ирен, и послушай меня. Так или иначе я буду вынужден уйти, не могу же я навсегда остаться в твоём доме. И не все ли равно, когда я уйду — завтра или послезавтра?

— Но тебе ведь некуда идти!

— Постарайся разыскать Луиса.

— А если не найду?

— Будем искать другой выход.

— Мануэль!.. Почему ты не хочешь здесь остаться?

— По многим причинам. Во-первых, я не могу оставаться против воли твоего отца. Он по-своему прав...

— Ничего он не прав!

— Во-вторых, оставаться долго в одном месте — значит нарушить правила конспирации и провалиться. Кто-нибудь может увидеть меня или ваше поведение кому-то покажется подозрительным... Наконец, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

— Пока вы будете здесь, мы примем меры предосторожности,— сказал отец.— Уговорим служанку взять отпуск на эти дни и... словом, будем осторожны.— Он встал, стараясь не смотреть на Ирен.— Я бы хотел помочь вам больше, но не могу. Жена по телефону вызвала меня со службы, у нее был приступ невралгии. Для нее все это так непривычно, вы меня понимаете?

Мануэль кивнул. Когда отец ушел, Ирен уткнулась лицом в ладони и расплакалась.

— Ну-ну, не плачь,— Мануэль погладил ее по голове,— не плачь.

— Мне стыдно...

— За что? За то, что сказал твой отец? Но это так естественно: каждый в первую очередь думает о себе, а потом — о других.

— А ты? Ты же думаешь о других...

— Ну, не всегда.

— Нет, всегда.

— Революционная борьба — это призвание. И тот, кто следует ему, думает и о себе тоже.

— Да, — согласилась Ирен, — ты прав, революционная борьба — призвание, самое благородное из всех.

* * *

Через два дня Мануэль оставил дом Ирен. Ей удалось найти Луиса, и тот приехал за Мануэлем на автомобиле. Они с Ирен сели на заднее сиденье и взялись за руки. Потом Мануэль положил голову на плечо девушки и замер. Минут через пятнадцать машина остановилась у большого дома, стоявшего на холме, откуда было видно море. Поднявшись на третий этаж по гранитной лестнице с железобетонными перилами, они остановились. Луис тихонько постучал, и через некоторое время из-за двери послышалось:

— Кровь достойных...

— ...лется не напрасно, — откликнулся Луис.

Их встретили Рафаэль и Хосе — значит, они тоже уцелели после штурма. Рафаэль был крепким парнем, сильным и мускулистым, но сейчас Мануэля поразили его жалкий вид. Преследования полиции, очевидно, надломили дух одного из самых смелых членов организации. Хосе был моложе их всех, с мальчишеским лицом, которое еще не знало бритвы, и красивым, мягким голосом. Они радостно обнялись, Хосе закидал Мануэля вопросами, но Луис прервал его — им с Ирен надо было поскорей уходить.

Проводив их до двери, Мануэль поцеловал Ирен.

— Постараюсь прийти завтра, — пообещала она.

Мануэль кивнул и смотрел им вслед, пока они не скрылись за лестничным поворотом. Затем закрыл дверь и присоединился к товарищам.

Они прошли в дальнюю комнату: надо было поговорить, обменяться новостями, рассказать, что было с каждым из них после штурма. В комнате стояла койка, но они предпочли усесться на пол.

Рафаэль и Хосе по очереди рассказали о своих злоключениях, до странности похожих: их обоих преследовали, оба сменили несколько убежищ, оба пережили сильную тревогу. Мануэля удивило это сходство, он сам, если бы стал рассказывать, рассказал то же. Только Рафаэлю и Хосе повезло немного больше, чем ему, — сразу же после штурма им удалось связаться с организацией. Вот уже три дня они скрывались на этой квартире.

Обо всем было рассказано, перечислены имена погибших и оставшихся в живых, и тут Мануэль обратил внимание, что о событиях последних дней они говорят, как о давно минувших, канувших в прошлое, словно, укрывшись за стенами этой квартиры, они перестали быть беглецами.

Вытянув ноги на полу, он окинул взглядом комнату.

— Вроде неплохая квартирка, а?

— И к тому же полиция о ней не подозревает, — откликнулся Хосе.

— А я в этом не уверен, — возразил Рафаэль.

— Почему?

— Не знаю. Не нравится мне она.

— Но почему? Почему? — настаивал Мануэль.

— Не знаю. Не очень удачное расположение комнаты... Мы как в ящике... Она мне не понравилась с первого взгляда.

— Просто у Рафаэля нервы сдают, — сказал Хосе, — не спит все ночи напролет. Еще немного — совсем в кота превратится.

— Я не хочу, чтобы меня захватили врасплох. С первого дня здесь меня не покидает чувство, что полиция вот-вот нагрянет.

— Ты должен выбросить это из головы, — сказал Хосе.

— Нет. Надо переехать в другое место.

— Куда же?

— Луис сказал, что снял квартиру в районе Виборы.

— Но она очень маленькая.

— А мне все равно, пусть будет маленькая.

— Совсем не все равно, если хочешь остаться живым.

— А здесь нас прикончат, в этой квартире нам крышка. Я знаю.

Хосе встал и тяжело вздохнул.

— Бесполезно с тобой разговаривать. Я тебя не понимаю.

Но Мануэль понимал Рафаэля. С другими товарищами тоже случалось такое: какие-то квартиры сразу вызывали у них доверие, других они почему-то боялись.

Ночью Мануэль видел, как Рафаэль с револьвером в руке почти все время сидел у окна, наблюдая за улицей. Иногда он садился на свою койку, курил, опершись локтями о колени, неподвижно замерев. Потом еле слышно ходил по квартире или караулил у окна, выходявшего на другую улицу. Затем он входил в комнату, где спал Мануэль, смотрел на него, а после обязательно возвращался к своему окну.

Мануэль хотел было встать и поговорить с ним, разговор, наверное, успокоил бы немного товарища. Он понимал, насколько опасно одиночество: Рафаэль все время, час за часом был наедине со своим страхом и своими мыслями.

Однако усталость взяла свое, и Мануэль постепенно заснул, а Рафаэль, повернувшись к нему широкой спиной, остался у окна наблюдать за улицей.

Утром Мануэль проснулся бодрым и отдохнувшим, как уже давно не просыпался. Спасибо Хосе, который уступил ему свою койку. Но Хосе в комнате не было, в гостиной, свернувшись калачиком, спал Рафаэль. Хосе, оказывается, варил на кухне кофе и предложил Мануэлю выпить горячего, но Мануэль сказал, что сначала умоется. Когда он вышел из ванной, Хосе ждал его со стаканом. Они уселись на койке, Мануэль стал прихлебывать кофе маленькими глотками.

— В котором часу лег Рафаэль? — спросил он.

— Не знаю. Не видел. Думаю, часов в шесть или семь. Он обычно ложится в это время.

— Значит, он все ночи бодрствует?

— Да. Спит днем немного. Кончится тем, что нервы у него совсем расшатаются.

— И давно с ним это?

— С тех пор как мы сюда приехали, хотя, по-моему, и раньше с ним не все было благополучно. А здесь

стало еще хуже, ты слышал, что он говорил вчера вечером. Далась ему эта квартира, только и твердит, что это мышеловка, что полиция нас здесь сцапает. А по моему, здесь неплохо. Квартиру сняли недавно и впервые используют для таких целей. Рафаэль хочет поскорее убраться отсюда, но я думаю, мы должны отсиживаться здесь до тех пор, пока полиция о нас не забудет.

— О, этого придется долго ждать...

— Да, я понимаю, но со временем им надоест гоняться за нами. Сейчас опасно отсюда двигаться, но, если Рафаэль и дальше будет вести себя так, он и меня заразит своими страхами. Пожалуй, я уже начинаю поддаваться.

Мануэль улыбнулся и поставил стакан на пол.

— Ты думал о том, что произошло? — спросил Хосе после короткого молчания.

— О чем именно?

— О штурме.

— Разумеется.

— Я тоже много об этом думаю. По-твоему, мы поступили правильно?

— Что пошли на штурм?

— Да.

— Конечно.

— Хотя и потерпели поражение?

— Если подумать как следует, это не так.

— Почему?

— Трудно объяснить. Вначале и я думал, как ты, но потом понял, что не прав.

— Почему?

— Потому что революция делается в сражениях. Одни сражения выигрывают, другие проигрывают, но с каждым ширится фронт революционной борьбы.

— Ты рассуждаешь, как теоретик.

— Может быть, однако не мешает анализировать свои поступки, больше того, это очень полезно. Впрочем, ты еще слишком молод для этого. Хотя в борьбе, которую мы ведем, люди скорее взрослеют и мужают. Не знаю, пережил ли ты то же, что я.

— Ты не намного старше меня, лет на пять, не больше. Но что ты имеешь в виду?

— Когда я учился в институте, я думал, что революционер — это тот, кто организует студенческие заба-

стовки, швыряет камни в автобусы или поносит полицию. В университете я считал, что быть революционером — это значит носить за поясом револьвер. Теперь я знаю, что это не так и что даже участие в штурме не дает права называться революционером.

— А что же значит быть революционером?

— Это понятие гораздо более глубокое.

— То есть?

— Прежде всего, надо знать, за что борешься.

Хосе удивился такому ответу, что-то он не совсем понимал Мануэля.

— Но ведь мы-то знаем.

— Знать-то знаем, но довольно приблизительно. Только сейчас мы начнем по-настоящему разбираться в этом вопросе. Поражение сделает из нас настоящих революционеров. До сих пор у нас не было времени для размышлений, наше сознание развивалось вместе с борьбой. Путь к революции, к подлинной революции, мы прокладывали через вооруженные схватки, диверсии, нападения. Нашей школой было насилие, у него мы учились. Теперь мы должны узнать, чего мы хотим и что для этого надо делать.

Хосе слушал молча.

— Все это очень важно, Хосе,— продолжал Мануэль,— не менее важно, чем уметь обращаться с оружием. Мы должны знать, почему мы боремся и куда идем. До сих пор мы сражались едва ли не инстинктивно, сражались за самое лучшее и самое справедливое для народа. Однако надо знать точно, что это такое.

— А ты знаешь, Мануэль?

— Думаю, что да. По крайней мере, кажется, начинаю понимать. Необходимо совершить социальную революцию. Никакая другая не будет настоящей. Наш народ слишком долго голодал, и было пролито слишком много крови, чтобы согласиться на обычную смену власти.

— Никто этого и не хочет.

— Хотят военные и политики. Они только и ждут момента, чтобы присвоить себе лавры победителей. Военные молчат, ушли в тень, а политики призывают кубинцев к согласию. Они боятся революции, боятся пуще адского пламени и приложат все силы, чтобы превратить ее в непристойный фарс. А мы не должны

это допустить. Батисту рано или поздно свергнут, но революция не восторжествует, если мы не уничтожим полностью политический и военный аппарат режима. Иначе случится то, что случалось прежде: молодежь погибнет в борьбе, а они будут править страной, восседая на наших трупах. И все пойдет своим путем, будто ничего и не произошло.

— Нет, черт возьми, не бывать этому!

— Мы должны представлять себе, чего мы хотим и куда идем. Зная это, мы будем знать, что нам делать.

— Так скажи, Мапуэль. Я тоже хочу знать.

— Нам предстоит многое разрушить и построить новое на обломках старого.

— Новое общество?

— Да. Это будет тяжело, ибо мы боремся против могущественного врага, против безумцев, опьяненных властью. Наша борьба будет долгой и трудной. Но, зная свою цель, мы обречем мужество и будем сражаться до победы.

— Даже угроза смерти меня не остановит, у меня хватит мужества бороться до конца.

— Не думай о смерти, Хосе. Человек умирает один раз, и мы боремся не для того, чтобы погибнуть, а для того, чтобы победить и жить. Ну, а если мы погибнем, пусть те, кто займет наше место, будут так же сражаться, и тогда получится, будто мы и не умирали. Вот о чем надо думать.

— Я согласен с тобой.

— Мы должны готовить новое поколение, которое заменит ушедших из жизни,— вот наша очередная задача, на выполнении которой мы должны сосредоточить все наши усилия. Так мы восстановим организацию, а это для нас самое главное. Деньги, оружие так или иначе можно достать. А вот людей, которые взяли бы за это оружие и знали бы, против кого его направить... И все же такие люди будут. На смену павшим всегда приходят новые борцы, надежда человечества.

— Надежда человечества...— тихо повторил Хосе.

— Да, ее нельзя уничтожить, даже если за нами будут охотиться, как за дикими зверями, даже если не останется ни единого уголка, где мы могли бы укрыться. Всегда найдутся люди, которые преодолеют обман

и ложь, они подхватят оружие, которое выпадет из наших рук, и станут сражаться за лучшее будущее.

Мануэль взволнованно заходил по комнате, потом внезапно остановился, словно силы его иссякли. Хосе увидел, что глаза его блестят, и медленно сказал:

— Никогда прежде я не слышал, чтобы ты так говорил.

Мануэль пожал плечами, чуть улыбнулся.

— Не знаю. О таких вещах можно много думать, но однажды тебя вдруг прорывает, словно вода хлынула через плотину...

* * *

В час дня Луис постучал в дверь, он принес новую койку и еду. Рафаэль беспокойно кружил около него и наконец спросил, нашел ли он другую квартиру.

— Нет,— ответил Луис,— есть только та, что в районе Виборы.

— Почему же мы туда не переезжаем?

— Я тебе уже говорил, что квартира очень тесная.

— Ну и пусть, как-нибудь поместимся.

— А вдруг соседи услышат шум и поймут, что там кто-то прячется...

— Предпочитаю рисковать, чем сидеть в этой мышеловке. Отсюда мы не выберемся живыми, поверь.

Луис ненадолго задумался, потом сказал:

— Попробуем сделать так: вы с Мануэлем переберетесь в Вибору, а Хосе — ко мне.

— Разделиться? — побледнев, взволнованно воскликнул Рафаэль.

— Это выход...

— Я против разделения.

— Я тоже,— присоединился к нему Хосе.

Луис понимал их. Когда тебя преследуют, хуже нет оказаться одному, без товарищей. Он разозлился на себя и попытался извиниться, объяснив всю сложность создавшегося положения: преследования усилились, многие явочные квартиры раскрыты полицией. С каждым днем становится все труднее, поэтому многие ищут убежища в посольствах иностранных государств.

— Сейчас мы переживаем критический момент,—

заклучил Луис.— Однако, Рафаэль, если ты здесь чувствуешь себя неуверенно и боишься оставаться дольше, я могу дать вам ключ от квартиры в Виборе на самый крайний случай. Я себе никогда не прощу, если по моей вине с вами что-то случится.

Рафаэль согласился, и Луис вручил ему ключ, написав на клочке бумаги адрес и как туда добраться. Проводив Луиса до дверей, Мануэль спросил об Ирен.

— Видел ее сегодня утром, точнее, говорил с пей по телефону. Она просила передать, что сегодня не сможет прийти.

— Почему?

— Из-за родителей. Они по-прежнему боятся и не выпускают ее из дома. Ирен попыталась было уйти, но у матери начался сердечный приступ, и пришлось вызывать врача. Они даже пообещали отослать ее в Соединенные Штаты...

Улыбка, похожая на гримасу, искривила губы Мануэля.

— Но она все равно придет,— Луис похлопал его по плечу,— Ирен не из тех, кто легко сдается.

Пообедали они в дальней комнате, после еды Рафаэль закурил сигарету и бросился на койку.

— Знаете, о чем я думаю вот уже несколько дней,— начал он,— и чем дальше, тем все больше? Кстати, и Луис только что об этом сказал. Пожалуй, так я и сделаю.

— Что ты имеешь в виду? — перебил его Хосе.

— Попрошу убежища в каком-нибудь посольстве, а затем они мне помогут выехать.

Хосе и Мануэль переглянулись, потом Хосе хмуро посмотрел на Рафаэля. Рафаэль поднялся, потушил сигарету поском ботинка.

— Мне необходимо уехать, хотя бы на некоторое время,— сказал он,— совсем ненадолго. Хватит двух-трех недель, чтобы я пришел в себя, отоспался, отдохнул. Успокоятся нервы, и я вернусь на Кубу.

Мануэль и Хосе продолжали молчать.

— Никто не может обвинить меня в трусости,— продолжал он, повышая голос,— все знают, что я не трус. Во время штурма я был в первых рядах, брался за любое задание. Но сейчас я сдал, сам чувствую, и нервы уже не выдерживают. Мне надо прийти в себя...

Последние слова он произнес тихо и опустил голову. Мануэль потрепал Рафаэля по колену.

— Никому и в голову не придет, что ты уезжаешь из трусости. Никто о тебе такое не подумает. Разве только тот, кто сам трусит...

Было жарко, и в пять часов Мануэль сказал Хосе, что идет принять душ.

— Что ты беспокоишься, — пошутил Хосе, — на кладбище никто не станет интересоваться, грязный ты или нет.

— Но я хочу и в гробу выглядеть достойно.

Оба засмеялись.

На ужин разогрели остатки от обеда, и Рафаэль вновь заговорил о своем отъезде, сначала вспомнив, как он дрался во время штурма, кого убили из его знакомых, и наконец воскликнул:

— Дорого достался нам этот штурм!

— Да, мы заплатили немалую цену, — согласился Мануэль.

— А в результате поражение!

— По-моему, это не поражение.

— А что же? Мы были вынуждены отступить, не выполнив намеченного.

— И все же это не поражение. А одна из побед революции.

— Каким это образом? — Рафаэль насмешливо улыбнулся.

— Мы показали пример мужества, пример решимости.

— Примерами революция не победит.

— Ты ошибаешься, Рафаэль, именно такие примеры и способствуют победе революции. Мы ведь активная сила революции и всегда должны быть впереди. Но не мы добудем нашей революции победу. Надеяться на это — величайшая ошибка. Выступление народа — вот что в конце концов решит победу. Если мы это поймем, мы выберем правильный путь в борьбе.

— Если мы будем ждать выступления народа, Батиста продержится у власти до самой своей смерти. О народе много говорят. Но где он? Где был народ, когда мы сражались?

— С нами.

— Душой? — съязвил Рафаэль.

— Вот именно,— ответил Мануэль.

— Но я предпочел бы, чтобы он был с нами физически.

— Я тоже. Но одно дело наши желания, другое — действительность. Как по-твоему, почему народ не участвовал с нами в этом штурме?

— Потому что удобнее быть зрителем, чем рисковать жизнью.

— Правильно. Но правильно и другое: прежде чем призывать народ к борьбе, надо организовать его. Мало сказать: борись, надо обучить и подготовить к борьбе. А этого можно добиться только продуманной организацией. Сколько времени мы готовили штурм? Несколько месяцев, не так ли? И разве могли неподготовленные, безоружные люди, ничего не знающие о наших планах, броситься вместе с нами в борьбу? Верить в это — значит верить в спонтанность революции. Но революция не бывает спонтанной. Она рождается в результате кризиса, когда положение для масс становится невыносимым. И все же революцию надо направлять, организовывать.

— Ты стал настоящим теоретиком.

— Нет. Просто я стараюсь увидеть, что стоит за обычными фактами, вот и все.

— А для меня самое главное — факты, и они доказывают, что мы были вынуждены сражаться одни и что лучшие из наших товарищей погибли напрасно.

— Напрасно? Нет. Очень может быть, что сейчас погибшие — самая грозная сила революции.

— А теперь ты похож на проповедника.

— Вполне возможно, но я говорю то, что думаю.

— Подумай также и о мертвых...

— Я думаю о них.

— Нет, о них ты не думаешь. Если бы ты о них думал, ты бы так не говорил. Они мертвы, и никто не вернет им жизни.

— Они шли не умирать, а сражаться, Рафаэль.

— Но они погибли. Так? Хотя, кажется, для тебя это не имеет значения. Ты произносишь громкие фразы, теоретизируешь, а то, что наши товарищи мертвы, тебя совершенно не трогает. У тебя нет сердца, и ты сам превратился в машину! Но мне начхать на твои теоретические выкладки! Мне начхать на тебя!

Рафаэль вскочил, размахивая кулаками перед Мануэлем. Губы его дрожали, но глаза оставались печальными. Хосе тоже вскочил и встал между ними, схватив Рафаэля за руки.

— Успокойся, Рафаэль. Ты сошел с ума!

— Пусти меня, черт подери!

Он резко высвободился и бросился в другую комнату. Хосе стоял ошеломленный.

— Не нравится мне, что он тут наговорил. Рафаэль не имел права оскорблять тебя,— сказал он, садясь рядом с Мануэлем на койку.

Мануэль положил руку ему на плечо.

— Не беспокойся, он не виноват. Это все первые. Должен же был когда-то наступить кризис. Ничего страшного, даже хорошо, что пришла разрядка.

* * *

Действительно, это была разрядка, и вскоре Рафаэль успокоился. Он вернулся к товарищам и попросил у Мануэля извинения. Тот заверил, что не стоит об этом говорить, и вместе с Хосе они посоветовали Рафаэлю лечь и постараться уснуть.

— А мы пока подежурим,— пообещали они.

Он лег на койку Хосе, а Мануэль и Хосе перешли в гостиную, чтобы занять наблюдательный пост у окна. Но они меньше всего думали об опасности. По улице беззаботно прогуливались люди, у подъезда напротив целовалась парочка. Ночной ветерок навевал на них тоску по той жизни, которая теперь была от них бесконечно далека. Через некоторое время они отошли от окна и уселись на пол.

— А как поживает твоя невеста? — спросил Мануэль, и вопрос показался странным ему самому.

— Хорошо,— ответил смеясь Хосе,— раза три приходила сюда.

— Она прекрасная девушка.— Мануэль помнил ее: светловолосая, черноглазая, она с жаром говорила о революции, писала стихи.

— Твоя тоже,— сказал Хосе.

— Она мне не невеста.

— Но ты ее любишь?

— Да.

— Ну, значит, почти невеста.

Где-то сейчас Ирен? Что делает?

— Я хотел бы жениться на ней, когда все кончится,— сказал он медленно, будто самому себе.

— Но когда это будет?! — вздохнул Хосе.

— Не знаю. Когда-нибудь будет. Обязательно!

В полночь пришел Рафаэль, чтобы сменить их, но они поняли, что он не сомкнул глаз, и снова предложили ему поспать.

— Мы просидим здесь всю ночь,— обещали Мануэль и Хосе.

Но Рафаэль отказался, и чем больше они настаивали, тем больше он упорствовал, наконец они отступили.

Они уже спали, когда Рафаэль вбежал в комнату и грубо растолкал их. Они вскочили, встревоженные.

— Что случилось?

— Дом оцепили!

Рафаэль рассказал, что видел, как к дому подъехала патрульная машина, из нее вышел полицейский, который о чем-то говорил с ночным сторожем и указывал пальцем на их окна.

— Ты уверен в этом? — спросил Мануэль.

— Да-да. Я ясно видел, как он показал на нашу квартиру.

Взяв оружие, они подошли к окну, внимательно оглядели улицу, но ничего не заметили.

— Либо уже уехали, либо оцепляют дом. Даю слово, я видел патрульную машину и полицейского, он указывал на наши окна. Не примерещилось же мне это! Одевайтесь, не теряйте времени! Наверное, мы уже окружены!

— А если никого нет? — спросил Хосе.

— Я вам говорю, они тут! Я видел!

— А куда мы пойдем? — спросил Мануэль.

— В Выбору.

— Среди ночи?! — воскликнул Хосе.

— А чего вы хотите? Ждать, пока они придут и прикончат нас? Но я не хочу этого! Оставайтесь, и пусть полицейские изрешетят вас своими пулями! А я уйду!

Он рванулся было к дверям, но остановился, услышав голос Мануэля.

— Подожди. Пойдем вместе.

Они быстро оделись, собрали оружие; Мануэль положил в карман запасной магазин, Хосе завернул в газету свой автомат. Когда они были готовы, Рафаэль сказал:

— Будьте внимательнее при выходе на улицу, мне кажется, они устроили засаду.

Прежде чем спуститься вниз, они потушили свет на лестничной площадке. Поначалу Мануэль и Хосе не очень поверили рассказу Рафаэля, но постепенно он заразил товарищей своей тревогой, и, спускаясь по лестнице, они все больше укреплялись в мысли, что им предстоит столкновение с полицией. Дверь на улицу была закрыта, они осторожно отворили ее, ожидая нападения. Но на улице никого не было, а ночной сторож, который якобы разговаривал с полицейским, спал на деревянном ящике у входа.

— Похоже, они уехали, — сказал Рафаэль, — но могут вернуться. Пошли на Двадцать третью улицу, там сядем на автобус. — И, не ожидая товарищей, он пошел вперед.

Возвратиться назад было поздно. Мануэль и Хосе знали: ни за что на свете они не уговорят Рафаэля вернуться, а поэтому, чтобы остаться вместе, они должны были следовать за ним.

Рафаэль шел впереди. Они молчали и старались идти быстрее, держась в тени деревьев; они хорошо понимали, что рискуют несколько не меньше, чем в оцепленном доме.

Пришлось постоять на остановке, а когда вошли в автобус, их ожидал сюрприз: в числе немногих пассажиров оказался полицейский. Однако, если бы они попытались выскочить на ходу, они сразу же выдали бы себя. Рафаэль сел за полицейским, а Мануэль и Хосе — через проход от него. Полицейский посмотрел на них и, должно быть, понял, что эти трое юношей едут не с гулянки. Рафаэль приготовил револьвер: малейшее движение, и он разрядит его в затылок полицейского. Но к их удивлению и радости, полицейский очень скоро вышел из автобуса.

Больше никаких происшествий не было. Они сошли на углу улиц 10 Октября и Лус, затем спустились по бульвару к улице Генерала Ли, здесь они повернули налево. В конце квартала улица раздваивалась; соглас-

но объяснению Луиса, они опять повернули налево и почти сейчас же оказались перед своим новым убежищем. Это был небольшой двухэтажный дом, отделенный от соседних домов проходами. Они поднялись на второй этаж, Рафаэль достал ключи и открыл дверь.

Квартира оказалась маленькой, как и предупреждал Луис: гостиная, одна спальня, ванная, кухня, окно из которой, забранное железной решеткой, выходило во внутренний двор. В решетке была дверца, ключ от которой им также дал Луис. Электричества не было, как и мебели. Однако на новом месте Рафаэль преобразился: он быстро обошел квартиру, светя себе спичками и радуясь, словно ребенок, получивший в подарок игрушку.

— Здесь нас не найдут,— сказал он, торжествуя и улыбаясь, когда осмотрел все помещения.— Лучше не придумаешь, тут нам нечего опасаться. Можем просидеть в этом доме, пока не свалят Батисту.

И залился громким хохотом, так что Мануэль и Хосе заставили его замолчать. Рафаэль снял пиджак, свернул его и, растянувшись на полу, подложил под голову. Через несколько минут он уже спал.

* * *

Проснулся он часов в 10 утра совершенно другим человеком. Отдых преобразил Рафаэля, он улыбался, едва открыл глаза. Сначала он снова осмотрел квартиру, проверил, как открывается дверца в решетке — замок работал безотказно,— на всякий случай оставил ключ в замке, потом вернулся в гостиную, где спали Мануэль и Хосе, и весело разбудил их.

Мануэль и Хосе поднялись с ворчанием, недовольно протирая глаза.

— Зачем разбудил? Так спать хочется. Который час? — зевнул Хосе.

— Одиннадцатый! Спите как сурки!

— Но ведь мы легли в четыре,— заметил Мануэль, потягиваясь.

— Эх, глоточек бы кофе сейчас! — вздохнул Хосе.— Может быть, пайдется?

— Ни крошки. Я уже проверил, тот, кто жил здесь до нас, постарался: хоть шаром покати. А квартира ве-

ликолепная, хоть Луис и говорил, что маленькая. Какое там маленькая, колоссальная!

— Да, кстати, о Луисе. Мы должны были оставить ему записку о нашем переезде.

— Зачем? Когда он приедет с обедом и не застанет нас, он сразу поймет, что мы перебрались сюда. Пойду помоюсь, смою с себя грязь, которую принес из того дома.— Он со смехом направился в ванную.

Мануэль и Хосе слушали, как он напевал, пока мылся. Выйдя из ванной, Рафаэль вытерся платком. Он продолжал улыбаться, но смотрел сосредоточенно и вдруг заявил:

— Я пошел.

— Куда? — удивился Хосе.

— В город.

— Зачем?

— Повидать одного адвоката, моего приятеля, попрошу начать ходатайство о моем выезде из страны. У него есть связи в посольствах, он сможет помочь мне.

Ни Мануэль, ни Хосе не нашли, что ответить.

— А может, лучше не выходить? — не очень уверенно предложил Хосе.

— Почему? Разве вы против, чтобы я уехал? Я же вам объяснял...

— Нет, мы не против,— прервал его Мануэль.— Ни я, ни Хосе, да и никто из организации не увидит ничего плохого в том, что ты уезжаешь...

— Тогда в чем дело?

— Может быть, еще рано выходить на улицу? Полиция, наверное, знает тебя лучше, чем остальных. Помнишь полицейского в автобусе?

— Ну и что? Ведь обошлось.

— Потому что нас было трое. Я почти уверен, что, если бы ты был один, полицейский не вышел из автобуса.

— Буду надеяться, что не повстречаю полицейского, который так хорошо помнит мою физиономию.

— И все же это очень рискованно. Почему не подождать еще несколько дней?

— Или почему не поручить твои дела Луису, он все сделает,— добавил Хосе.

— Нет. Я хочу сам.— Он вдруг рассмеялся и дружески похлопал Мануэля по плечу.— А вы не кар-

кайте, я нюхом чую опасность и знаю, что сейчас мне ничто не угрожает. Приблизительно к часу дня я вернусь. Что принести вам на обед? Сандвичей побольше. Согласны?

Он вышел из дому совершенно спокойный. Но ни в час, ни в два не вернулся. В три часа тревога товарищей перешла в предчувствие, что случилось непоправимое.

— Мы не должны были отпускать его,— сказал Хосе, ударив в стену кулаком.— Надо было силой оставить... Хотя, кто знает, может, ему удалось укрыться в каком-нибудь посольстве...— без всякой уверенности закончил он.

— Да,— еле слышно согласился Мануэль.

— А может, он задержался?

— Может быть...

Но когда наступили сумерки, они поняли, что Рафаэль не вернется, что они никогда больше его не увидят, и почти сразу же ощутили страшную пустоту, возникающую, когда из жизни уходит близкий человек. Мануэль знал, что есть сердца, которые ничем не тронешь, но его сердце болело, как и сердце Хосе. Наступающая темнота постепенно поглощала их, а они продолжали неподвижно и молча сидеть на полу.

Вдруг Мануэль громко сказал:

— Наша группа была лучшей в организации...

— О чем ты?

Вопрос Хосе вернул Мануэля к действительности. Он слабо улыбнулся:

— Я вспомнил дни, когда мы все вместе жили в подвале на Двадцать девятой улице.— Он улыбнулся.— Шагу нельзя было ступить — весь пол был застлан матрацами. А какие плакаты висели на стенах! «Курить не более чем впятером одновременно», «Читай, не разговаривай», «Снимай ботинки». Весело было! Кто-то спокойно храпел, хотя знал, что на следующий день ему, возможно, придется столкнуться со смертью. Другой писал письма. А ты что делал? Да, ты прилип к радиоприемнику, хотел первым узнать, что происходит в мире, ты так и рвался в бой. Правда? А мы расположились в дальней комнате. Какие планы мы строили в то раннее утро, бог мой! И помышляли только о революции. Что будет, когда мы победим? А мы были уве-

репы в победе. Мы были такими молодыми и такими неопытными и хотели делать только добро. Мы знали, что многое надо разрушить, но многое и построить. Построить собственными руками жизнь, о которой мы мечтали. Мы говорили, что эта революция не будет похожа ни на революцию 1933 года, которая ничего не создала, а принесла только разрушения, ни на освободительную войну 1895 года, когда кубинцы пролили столько крови, а потом явились генералы из Соединенных Штатов. Наша революция будет иной, мы были уверены, что не подведем и не уступим политикам, даже если янки вновь вмешаются в наши дела. Среди нас не было честолюбцев, а если и были, то очень мало. Честолюбцы никогда не рискуют жизнью, а мы готовились с радостью отдать ее. Когда в тот памятный день мы садились в грузовики, я едва не запел. Думаешь, от страха? Может быть, но тогда я не думал о страхе, по моему, никто о нем не думал. Мы горели желанием поскорее сразиться с врагом. Есть минуты, когда забываешь о страхе: во время атаки, наступления. Он как бы отступает, едва ты начинаешь сражаться, и тебе хочется кричать от радости. Тебя охватывает ощущение свободы, поэтому мы не могли сидеть спокойно в грузовике.

Помнишь юношу, который еще учился в институте? Кажется, его звали Игнасио. Он погиб во время штурма, и я его видел за несколько минут до смерти. Поднимаясь по лестнице, он стрелял в солдат, засевших на втором этаже, увидев меня, он помахал рукой, словно был занят привычным делом. Да, это были отличные ребята!.. Как и все, кто борется за общее дело. Было время, я кому-то завидовал, на кого-то обижался. А сейчас я чувствую себя братом всех тех, кто участвует в этой борьбе, всех, кто погиб, всех, кто еще погибнет.

— Почему ты говоришь об этом сейчас? — спросил Хосе, который молча выслушал своего товарища. Мануэль не ответил, и Хосе пришлось повторить вопрос.

— Не знаю, — сказал Мануэль, — просто вспомнилось. Не знаю.

Но это было неправдой, он знал, почему говорил об этом. Пожалуй, только это и знал Мануэль сейчас, но не хотел говорить Хосе. Не стоило.

Вдруг послышался стук в дверь.

— Это он! Рафаэль! — радостно закричал Хосе.

Они подбежали к двери, когда стук повторился.

— Кровь достойных... — быстро сказал Хосе.

Но отзыва не последовало, и что-то холодное и острое словно коснулось их затылков... Когда раздалось первые удары прикладов, они машинально отступили назад...

— Полиция! Бежим! — закричал Хосе.

* * *

Они вбежали в кухню, открыли дверцу в оконной решетке и вылезли на плоскую крышу. Парапет, разделявший крышу, был низким, они вмиг перемахнули через него и залегли, тяжело дыша и обливаясь потом. В это время послышался шум падающей двери, затем голоса и топот ног.

— Давай перепрыгнем на соседнюю крышу, — предложил Мануэль.

Они вскочили и, согнувшись, подбежали к краю крыши. Мануэль посмотрел вниз, хотя заранее знал, что увидит: полицейские бежали по проходу к внутреннему двору.

— Они внизу. Прыгаем, нельзя терять время.

Расстояние между крышами было невелико, около двух метров, и они не сорвались. Но один полицейский заметил их и закричал:

— Они здесь! На крыше!

Сейчас же раздалось несколько выстрелов.

— Беги! — приказал Мануэль.

Несколько домов соприкасались крышами, которые разделяли лишь невысокие парапеты. Мануэль и Хосе бежали, стараясь укрыться от пуль за бетонными цистернами для воды и даже за телевизионными антеннами. На крыше дома, где они прятались, уже появились двое полицейских, которые стреляли, не целясь. Мануэль и Хосе не отвечали, продолжая бежать, на одной из крыш они укрылись за цистерной. По частоте выстрелов они определили, что их преследуют уже не двое, а больше полицейских.

Увидев, что юноши спрятались, пятеро полицейских залегли и открыли огонь. Тут Мануэль и Хосе обнаружили, что совершили ошибку: цистерна была не бетонной, и пули пробивали ее насквозь. Они отстреливались,

чтобы не подпускать преследователей, но понимали, что эту позицию им не удержать. Стреляли они наугад, а полицейские уже начали обходить их с флангов, — оставаться на этом месте было опасно. Мануэль оглянулся и на соседней крыше, метрах в двадцати от них, увидел что-то вроде домика.

— Бежим за этот домик! Приготовься и, когда я скажу, беги туда, но отстреливайся.

Они приготовились, мускулы напряглись до предела, словно у спринтеров на старте.

— Вперед!

Они резко вскочили и открыли огонь — от неожиданности полицейские перестали стрелять и прижались к крыше. Мануэль успел заметить, как один из них попытался было подняться, но упал.

Они побежали, перемахнули через парапет и едва залегли за домиком, как полицейские открыли огонь.

Мануэль увидел, что Хосе ранен в лоб. Рана кровоточила, но была неглубокой.

— Ты ранен, — сказал он.

Хосе потрогал лоб и посмотрел на окровавленные пальцы.

— Ничего особенного, царапина... Здесь лучше, отсюда удобнее отстреливаться.

— Ты стреляй из-за этого угла, а я буду из-за другого.

— А патроны? У тебя есть еще магазин?

— Один.

— Больше не стреляют...

Они осторожно выглянули: полицейские расположились за парапетом и за цистерной. Позиция юношей была более выгодной, но патроны уже кончались, к тому же их могли атаковать с тыла, поэтому надо было решать, как оставить это укрытие.

Мануэль посмотрел назад: метра на полтора там возвышался парапет. «За ним, наверно, другая крыша, — подумал он, — видна антенна».

Вдруг один из полицейских крикнул:

— Стреляйте! Стреляйте все! Огопь по ним!

На домик обрушился свинцовый дождь. От стен отлетали куски штукатурки, пули со свистом впились в дверь. Мануэль и Хосе переглянулись.

— Они что, лезут сюда? — спросил Хосе.

Мануэль прижался к крыше и осторожно высунул голову: удаляясь от них, пригнувшись, бежал полицейский.

— Нет, прикрывают одного, который отходит назад. Не знаю почему, мне это не нравится.

— Давай сматываться отсюда. Я буду стрелять, а ты беги к тому парпету.

— А ты?..

— Вместе мы не можем бежать. Кто-то должен прикрывать другого. Я прикрою тебя сейчас, а когда ты окажешься за парпетом, прикроешь меня.

Мануэль колебался.

— Ты ранен, Хосе, беги ты первый.

— Нет. Не будем терять время на болтовню. Делай, как я сказал...

Резким движением он вогнал новый магазин в автомат и, прижавшись спиной к стене, стал продвигаться к углу.

— Приготовься,— велел он Мануэлю, затем выскочил из-за укрытия и открыл огонь.

— Беги, Мануэль!

Мануэль побежал к парпету, пока Хосе продолжал стрелять. Полицейские вновь прижались к крыше. Поскользнувшись на керамических плитках, которыми была уложена крыша, Мануэль чуть не упал, но удержался и добежал до парпета. Схватившись за край, он с силой подтянулся и перебросил тело. Падая, успел выхватить револьвер и, едва ноги коснулись крыши, открыл огонь. Он видел, как Хосе огнем своего автомата не дает подняться десятку полицейских. Настоящий герой! Что есть силы он закричал:

— Давай, Хосе, беги, я тебя прикрываю!

Хосе повернул голову, улыбнулся и, нажав последний раз на спусковой крючок, побежал к парпету. Мануэль продолжал стрелять, но вдруг наступила тишина. Холодный пот прошиб его: кончились патроны. Хосе не отрывал глаз от Мануэля, и Мануэль увидел в них нескрываемый страх.

— Стреляй, Мануэль! Стреляй! — кричал он срывающимся голосом.

Но пока Мануэль извлекал из кармана запасной магазин, полицейские поняли, в чем дело, и бросились за

Хосе, открыв по нему огонь. Хосе успел схватиться за край парашюта, но тут пули настигли его, и он упал, обливаясь кровью.

Мануэлю захотелось кричать, плакать, перепрыгнуть через парашют и взять на руки труп своего товарища, но он лишь несколько раз шепотом повторил имя Хосе. А затем, охваченный нечеловеческой яростью, горем и отчаянием, выпрямился и начал беспорядочно стрелять, выкрикивая грязные ругательства. Он услышал вопли, как в водовороте, замелькали вокруг синие пятна, падая на него, а он все нажимал и нажимал на спусковой крючок уже ненужного пистолета. Затем со стоном бросился на преследователей, прорвал их кольцо и побежал по крыше. Она была последней — внизу лежала улица, на противоположной стороне которой возвышался холм, поросший кустарником и деревьями. Кажется, еще есть шанс на спасение, хотя он и безоружен. Если добежать до холма, можно скрыться в зарослях. До земли было метров семь, и Мануэль решился...

Ему показалось, что огромный хлыст полоснул его по всему телу и что рана на бедре вновь открылась. Почти бессознательно он пытался подняться, но ноги не держали его. Страшная боль пронзила Мануэля. «Сломал обе ноги», — подумал он. Но надо было пересечь улицу и укрыться на склоне холма. Мануэль боролся с болью, и на какой-то миг ему удалось встать на ноги, но он не сделал и шага, снова упал на асфальт. На глазах выступили слезы, он тяжело дышал. Однако желание спастись не покидало его, и боль, сковавшая все тело, не смогла затуманить мозг. Он пополз, помогая себе руками. Содрав кожу на локтях, он через три метра остановился. Измученный, приник лицом к асфальту и замер: конец, ему уже не убежать. Мануэль перевернулся на спину и увидел сначала небо, огромное, будто спокойное серое море, окрашенное с одной стороны пурпуром, а потом — полицейских на краю крыши. По-видимому, они уже давно наблюдали за его агонией, и тут ему стало страшно: он не хотел умирать. Он заорал, и ему показалось, что не слова вылетают из его глотки, а глухой невнятный крик: «Не убивайте меня, у меня нет оружия»... Последнее, что он увидел, были серые, расплывающиеся в тумане фигуры полицейских и дуло автомата, направленного на него.

